Алексей
ЧЕРКАСОВ
Полина
МОСКВИТИНА

Сказания о людях тайги

ХМЕЛЬ · КОНЬ РЫЖИЙ · ЧЕРНЫЙ ТОПОЛЬ

Полное собрание сочинений (Эксмо)

Алексей Черкасов

Сказания о людях тайги: Хмель. Конь Рыжий. Черный тополь

«Эксмо»

1966-1972

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Черкасов А. Т.

Сказания о людях тайги: Хмель. Конь Рыжий. Черный тополь / А. Т. Черкасов — «Эксмо», 1966-1972 — (Полное собрание сочинений (Эксмо))

ISBN 978-5-04-178232-0

Трилогия «Сказания о людях тайги» включает три романа «Хмель», «Конь рыжий», «Черный тополь» и охватывает период с 1830 года по 1955 год. Трилогия написана живо, увлекательно и поражает масштабом охватываемых событий. «Хмель» – роман об истории Сибирского края – воссоздает события от восстания декабристов до потрясений начала XX века. «Конь рыжий» – роман о событиях, происходящих во время Гражданской войны в Красноярске и Енисейской губернии. Заключительная часть трилогии «Черный тополь» повествует о сибирской деревне двадцатых годов, о периоде Великой Отечественной войны и первых послевоенных годах.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-178232-0

© Черкасов А. Т., 1966-1972
© Эксмо, 1966-1972

Содержание

Алексей Черкасов 7
Напутное слово 7
Крепость 9
Завязь первая 9
I 9
II 12
III 15
IV 18
V 20
VI 22
VII 23
VIII 25
IX 26
X 29
XI 31
Завязь вторая 33
I 33
II 34
III 37
IV 40
V 42
VI 45
Завязь третья 46
I 46
II 47
III 49
IV 50
V 53
VI 56
VII 57
VIII 58
IX 60
X 62
Завязь четвертая 64
I 64
II 66
III 70
IV 73
V 74
Конец ознакомительного фрагмента. 75

Алексей Черкасов, Полина Москвитина Сказания о людях тайги: Хмель. Конь Рыжий. Черный тополь

© Москвитина П. Д., 2021
© Черкасова П. Д., 2021
© Черкасова Н. А., 2021
© Черкасова М. В., 2021
© Черкасов А. А., 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

* * *

Алексей
ЧЕРКАСОВ

Полина
МОСКВИТИНА

Сказания о людях тайги
ХМЕЛЬ · КОНЬ РЫЖИЙ · ЧЕРНЫЙ ТОПОЛЬ

2021
МОСКВА

Алексей Черкасов
Хмель

Полине Москвитиной

Без твоего мужества в трудные годы, без твоего истинно творческого участия, когда мы вместе создавали замысел Сказаний, вместе работали, переживали горечи неудач и счастливые минуты восторга, без такого творческого союза, друг мой, я никогда бы не смог написать Сказаний о людях тайги.

Алексей Черкасов

Напутное слово

Было так…

1941 год, канун Октября. Напряженное ожидание чего-то важного, чрезвычайного, что должно произойти не сегодня завтра. Белые и красные флажки на географической карте столпились возле Москвы и вокруг Ленинграда. Каждое утро, после того как с телеграфа приносили в редакцию сводку Совинформбюро, мы собирались у карты, молчали и угрюмо расходились по своим углам; шли напряженные бои за Москву…

В один из таких дней в редакцию пришло довольно странное письмо из деревушки Подсиней, что близ Минусинска. Письмо попало ко мне. Я читал его и перечитывал и все не мог уразуметь: о ком и о чем в нем речь? И что за старуха пишет в таком древнем стиле:

«Вижу, яко зима хощет быти лютой, сердце иззябло и ноги задрожали. Всю Предтечину седмицу тайно молюся, чтобы сподобиться, и слышу глас Господний. Время не приспе: и анчихрист Наполеон у град Москвы Белокаменной на той Поклонной горе, где повстречалась с ним малою горлинкою несмышленой, и разуметь не могла, что Москве гореть и сатане погибели быть. Да пожнет тя огонь, аще не зазришь спасения. Погибель, погибель будет. И лик Гитлеров распадется, яко тлен иль туман ползучий, и станет анчихрист Наполеон прахом и дымом…»

Вот и пойми: «Лик Гитлеров распадется, яко тлен иль туман ползучий, и станет анчихрист Наполеон прахом и дымом…» И что за малая горлинка, которая виделась с Наполеоном? После нашествия Наполеона минуло сто двадцать девять лет!..

Письмо было большое, написанное с буквой ять, с фитой, ижицей, прямым, окаменелым почерком. Мы его называли «письмом с того света». Под письмом стояла подпись: «Ефимия, дочь Аввакума из Юсковых, проживающая в деревне Подсиней у Алевтины Крушининой».

Интереса ради, да и к тому же попутно по дороге в Минусинск, заехал я в деревушку Подсинюю и отыскал бревенчатую избенку Крушининой, наполовину вросшую в землю. Три подслеповатых окошка, завалинка до окна, ограда в три жердины, копна сена в огороде, корова у копны и снег, снег до берега Енисея.

В избе на деревянной кровати на лохмотьях жались ребятенки – похожий на одуванчик мальчишка лет трех и две девочки-погодки – лет семи и шести. Я поздоровался, но мне никто не ответил. Ребятишки еще теснее сплелись в клубок.

– Мамы нету. Она на ферме, – предупредительно сообщила девочка постарше.

– Ну а бабушка Ефимия у вас проживает? – спросил я.

– Вон она, на печке дрыхнет, – выпалила старшая.

В избе было довольно прохладно. Я спросил: где же их отец? Мальчонка скороговоркой сообщил:

– Папку вбили фашисты на войне.

Разговор с ребятенками потревожил бабку Ефимию, и она, откинув занавеску, поглядела с печи…

Голова ее была совершенно белая. Ястребиный нос пригнулся чуть не до верхней губы. Лицо было до того перепахано морщинами, что никто бы не мог угадать, какой была старуха в молодости. На мой вопрос, не она ли написала письмо в редакцию газеты, старуха охотно подтвердила:

– Кто же за меня напишет? Сама. Сама. Анчихрист, анчихрист Наполеон. Детей вот осиротил и горем землю заполнил. Сгинет он в пожаре, сгинет.

Я сказал, что Наполеона давным-давно в помине нет и что война идет с Гитлером, с фашистской Германией. Старуха проворчала что-то, поворочалась на печке и медленно слезла, кутаясь в рваную шаленку. Сказала:

– Не сообщно глаголать то, чего не ведаешь, раб Божий. Сказано: сатанинское – в Сатану вмещается; Саулова – в Саула, Исавова – в Исава. Рече про Гитлера, а он – сатано Наполеон. Видала я его, треклятого. Ноги толстые, обтянутые белыми штанинами, и ляжками дрыгает. И губы, яко скаредные, продольные. Не брыластый. Нет! Брыластые добрые.

Старуха пояснила: «брыластый» – толстогубый, значит. Так говаривали, дескать, в старину.

Я все-таки не верил, что старуха виделась с Наполеоном, и она еще раз подтвердила:

– Как же, как же. Как вот с тобой теперь. Ближе даже.

– После Наполеона, бабушка, много воды утекло!

– Много, много. И воды, и грязи. И морозы были. И тепло было, и люди были, и звери были. Молодые гибли, как солома на огне. А я живу, мучаюсь и не зрю века. Ох-хо-хо!

Я невольно поинтересовался, сколько же ей лет.

– Да вот с Предтечи сто тридцать шестой годок миновал. Год-то ноне от Сотворения… Зажилась, должно. Аще не днесь, умрем же всяко. И рече Господь: ходяй во тьме, невесть камо грядет. Не сделай беды, да и не сгинешь во зле.

– И паспорт у вас есть, бабушка?

– Лежит, лежит пачпорт. Не мне – на ветер дан. На пришлых да встречных. Покажу ужо. Покажу. Глянь. Глянь…

Паспорт советский, самый настоящий, и выдан был в городе Артемовске в 1934 году. Год рождения – 1805-й!

Спустя много лет Ефимия заговорила у меня в Сказании «Крепость», и я услышал ее голос, увидел ее живые черные глаза, глубокие и красивые в девичестве, но она ли это? Та ли Ефимия, с которой я встретился тогда в избушке?

«Я так вижу», – сказал один большой художник.

Много, очень много было встреч с людьми сибирской тайги и особенно с крепчайшими раскольниками-старообрядцами – не с волжскими, описанными Мельниковым-Печерским, а с непримиримыми, которых при всех царях гнали этапами в Сибирь.

Особенно памятной для меня была быль, рассказанная дедом, Зиновием Андреевичем Черкасовым, о декабристе, нечаянно встретившемся с общиной поморских раскольников где-то на берегах Ишима в бывшей Тобольской губернии. Этот декабрист был моим прапрадедом.

Так по крупинке из года в год собирались впечатления, раздумья, покуда не вылились в романах Сказаний.

Да, я их такими вижу, больших и маленьких героев Сказаний! Увидит ли их такими же взыскательный читатель?..

Крепость
Сказание первое

Сторона-то ты, сторонушка,
Далекая, сибирская!
Лесами ты богатая,
Зверями непочатая,
Народ в тебе, сторонушка,
Со всей России-матушки:
С Волги, с Дона тихого
Шли люди, духом смелые,
Удалью богатые!..

Завязь первая

I

Чуждо и дико гремело железо в ковыльном безмолвии. «Тринь-трак, тринь-трак», – слышались кандальные звуки.

Степь и степь…

Как моря синь, как неоглядная голубень июльского неба, равнинная степь. Хоть бы лесная опушка, кустик ли – кругом голым-голо. Хоть бы капля дождя упала на отвердевшую, как камень, местами лысую землю с выступающими островками солонцов.

Человек, закованный в кандалы, брел степью неведомо куда, не чая, выйдет ли к чему живому или упадет и никогда уже не подымется.

Каторжанские коты на деревянных подошвах, негнущиеся, тяжелые, затрудняли движения колодника, и он часто останавливался, вытирая рукавом серой арестантской куртки пот с лица.

Следом за колодником прыгала гривастая, низкорослая гнедая кобылица с таким же гнеденьким жеребенком-сосунком. У кобылицы была повреждена левая передняя нога – и она скакала на трех. Жеребенок то забегал вперед, то плелся сзади, то уносился по степи в сторону, и тогда кобылица печально и призывно ржала.

Третьи сутки тащилась лошадь за колодником. Она подошла к нему ночью при полной луне и, когда колодник попробовал поймать ее, дико фыркнула и ускакала прочь. Потом снова вернулась и шла за ним на некотором расстоянии. Откуда она появилась в безводной степи и что ее тянуло к человеку, которому она не хотела даться в руки, – так и осталось загадкой для колодника. Холка и шея у нее были избиты и затянулись коростой. Может, кто-то из обоза, что шел по Московскому тракту, бросил изувеченную кобылицу вместе с жеребенком, и она, плутая по степи, набрела на такого же одинокого человека и шла теперь за ним, томясь, как и человек, желанием: скорее добраться до пресной воды – к речке ли, к озеру, хотя бы к лужице.

Если колодник, изнемогая от цепей, падал на землю, кобылица ждала, когда он встанет, жеребенок тем временем тыкался мордой в вымя матери, где, наверное, не было ни капли молока.

Кудрявым маревом иссыхала налитая зноем пустынность, и не было ей конца-края. Куда ни кинь взор – всюду синее, смыкающееся с небом, равнинное безмолвие; никлый, устояв-

шийся ковыль, распустив сизые усы, переливался от шалого ветра лиловыми барашками. Иногда по степи проносился вихрь, трепал космы ковыля, и опять все утихало, томилось в жарких лучах солнца, накаляющих воздух и землю. В такую пору над истомленной степью не парит даже птица, не встретишь ни зверя, ни косяка диких коз и лошадей, каких немало водится в степном приволье. И все-таки степь жила какой-то особенной, неторопливой и трудной жизнью. Где-то пролегал Московский тракт; проезжали государевы почтовые кибитки; скакали на четверках фельдъегеря с форейторами; плелись груженные товарами купеческие телеги на железном ходу; тарахтели наемные подводы с пассажирами, а временами по тракту гнали арестантов, закованных в цепи, и колодник, выйдя на тракт, вряд ли обрадовался бы встрече с партией каторжан, угоняемых на рудники в Сибирь.

Степь и степь!..

«Тринь-трак, тринь-трак», – вызванивали цепи.

Голубая суконная куртка с двумя желтыми бубновыми тузами на спине – знак государственного политического преступника – покрывала широкие плечи колодника. Он был высок, хотя и сильно сутулился. Его светло-синие глаза ввалились и казались большими, округлыми; на щеках, опаленных солнцем, шелушилась кожа; кудрявая бородка золотой подковкой обрамляла прямоносое исхудалое лицо. Арестантский колпак он разорвал на лоскутья и подложил под железные браслеты на ногах. Сыромятный ремень, который поддерживал кандальную цепь на ногах, соединенный с цепью на руках, служил поводком, за который он держался одной рукой, а другой тащил суковатую палку. Кандальные кольца были наглухо заклепаны.

Озираясь, колодник испуганно пробормотал:

– Курган! Опять тот же самый курган… О господи, в пятый раз выхожу на это же место!..

Действительно, впереди возвышался курган. Но тот ли самый?.. Колодник подошел ближе и увидел помятую траву и несколько свежих лунок.

Некоторое время он тупо созерцал место, куда вышел в пятый раз, потом ударил палкой по комку земли и вдруг услышал за спиной голос: «Мичман Лопарев».

Он вздрогнул, выронив палку и мгновенно обернувшись: никого не было, кроме кобылицы с жеребенком. «Но я же слышал, слышал… Клянусь девятью мужами славы, то был он! – вспомнил хрипловатый, лающий голос коменданта Петропавловской крепости генерала Сукина. Фамилия генерала была под стать его должности. – Или опять показалось? Ночью голос Рылеева слышал, а сейчас – Сукина…»

Он упал на примятую траву и долго лежал так, к чему-то напряженно прислушиваясь и бормоча:

Царь наш – немец русский,
Носит мундир прусский…
Ай да царь, ай да царь!
Православный государь!
Трусит он законов,
Трусит он масонов…
Ай да царь, ай да царь!
Православный государь!
Только за парады
Раздает награды…
Ай да царь, ай да царь!
Православный государь!
А за правду-матку
Прямо шлет в Камчатку…
Ай да царь, ай да царь!

Православный государь!

«А за комплименты – голубые ленты», – вспомнил еще и, подняв голову, похолодел: будто совсем рядом, рукой подать, в струистом мареве – Санкт-Петербург, Сенатская площадь… Та самая! И Медный всадник, придавив копытами чугунно-черную гадюку, простирал руку к реке, указывая колоднику на золотой шпиль Петропавловского собора и на крепость, стену которой омывали прохладные воды Невы.

– Боже, боже… – простонал он, привстав на колени и неотрывно глядя на причудливый мираж. – Я вижу, вижу!.. Неву вижу! Шпиль вижу! Крепость!..

Вот она – Нева, северная жемчужина славян, счастье водное. Вот она, совсем рядом. Иди же, колодник, и утоли жажду. Забудь, что ты затерялся в пустынной равнине за Каменным поясом – Уралом. Нева, Нева!.. Ты слышишь, колодник, как плещутся ее благодатные воды?..

Мираж постепенно отдалялся и таял в жарком полуденном мареве.

– Я же видел, видел! – воскликнул он, с ужасом глядя на необозримую степь: уж не лишился ли ума от жажды? Он знает: в степи нередко можно увидеть мираж, но почему именно примерещились Сенатская площадь, Медный всадник, золотые купола Петропавловского собора и сама Нева?..

Колодник заплакал и снова уткнулся лицом в скрипучий ковыль.

В больном воображении проносилась одна картина за другой – и так явственно, точно все происходило вчера.

Улица города Ревеля… Он спешит к прохладе и пьет, пьет и никак не может напиться. Он один среди прохожих, совершенно незнакомых. Море где-то далеко-далеко, за тридевять долин. И есть ли вообще море, прохладные реки, утоляющие жажду?.. Страх сковывает его: он боится поднять голову – опознают… И тут, на людной улице, чья-то тяжелая рука в перчатке ложится ему на плечо:

– Мичман Лопарев!

Он не успевает ответить: перед ним жандарм.

– Вы арестованы.

– Пить… пить. – Он облизывает губы.

Жандарм сухо отвечает:

– Нет для вас воды, нет для вас моря, а есть вечная безводная степь в Сибири, за Уралом, и вы умрете от жажды, государственный преступник Лопарев! Следуйте за мною!

«Если бы я тогда не задержался на сутки в Ревеле, я мог добраться до Варшавы, а там – к Юлиану Сабинскому, к Ядвиге, – подумал Лопарев, переживая минувшее в своей нелегкой судьбе. – Нет, я их не выдал. Ни Ядвигу, ни Юлиана, ни Мстислава со Станиславом. Венценосец не вымотал из меня признания, нет! Ты слышишь, Ядвига?..»

Черные, ищущие глаза Ядвиги придвинулись к его лицу. Она все такая же – чуточку насмешливая, капризная полячка, но самоотверженная и бесстрашная, как и ее двоюродный брат Юлиан… Лопарев и Ядвига в полутемной гостиной дома Сабинских пьют старое вино; на улицах Варшавы гроза и дождь.

Он пьет вино и говорит стихами Кондратия Рылеева:

Ревела буря, дождь шумел;
Во мраке молнии летали,
И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали…
Ко славе страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой,
На диком бреге Иртыша

Сидел Ермак, объятый думой…

Ядвига спросила:

– Кто такой Ермак?

Он ответил.

Ядвига печально промолвила:

– О матка боска! Только бы не Сибирь. Мне страшно за всех вас. Только бы не Сибирь!

– Ядвига! Ядвига! Где ты? – зовет он в исступлении.

…Безмолвие и полуденный зной, от которого нигде не укрыться…

– О боже! Конец мне, конец… – стонет колодник, приминая лицом ковыль.

Где теперь Ядвига Менцовская? Юлиан Сабинский? Где они все, варшавские друзья? Он никого не предал, никого не назвал…

– Ты сгниешь в тринадцатой камере, жалкий мичманишка! – рычит генерал Сукин.

Тринадцатая камера в Секретном Доме…

Камера с голосами призраков…

Колодник слышит пронзительный крик:

– Назови сообщников в Варшаве! Назови сообщников в Варшаве!

– Не было, не было сообщников… – стонет он. Но… чу! В уши бьет материнский голос:

– Сашенька! Сашенька! – Не голос, а мученическая мольба израненного сердца. – Что ты наделал, Сашенька! Как ты мог скрыть от меня и от отца крамольную тайну? Закружили тебя бесы, Сашенька, закружили, запутали. Покайся, Сашенька! Царь милостив – простит. И я буду молиться. Закружили тебя бесы…

«И я закружился в проклятой степи, – с горечью подумал колодник. – Бесы закружили, видно: в пятый раз я вышел на этот курган. Может, и в жизни так – кружимся, кружимся, а выбиться на дорогу не можем?..»

Руки матери теплые, желанные.

– Сашенька…

И сразу же, как в пекло головой: лицом к лицу с генерал-адъютантом Чернышевым.

Генерал-адъютант вкрадчиво допытывается:

– Смею спросить: кого же вы прочили в Буонапарты России? Пестеля? Рылеева? Или Муравьева-Апостола? Кого же? Я, смею заверить, пожил на белом свете и кое-что повидал, не исключая самозваного императора Франции. И вот – конституция вашего тайного общества, кою вы собирались огласить народу, если бы вам удалось… Кого же вы готовили в Буонапарты?

«Нет, нет, нет! – стонет колодник, выдирая руками ковыль. – Мы не готовили Бонапарта для России. Нет, не готовили…»

«Закружили тебя бесы, Сашенька, закружили, запутали. Покайся, Сашенька! Царь милостив – простит…»

– О боже!

Он вскочил, гремя цепью. Перекрестился. Перед ним – все тот же курган, изнывающая в зное ковыльная степь.

II

Бывший мичман гвардейского экипажа, участник декабрьского восстания Александр Лопарев, 1803 года рождения, государственный преступник, осужденный по третьему разряду известного царского алфавита к двадцати годам каторжных работ и к вечному поселению в Сибири, три года отсидевший милостью царя в Секретном Доме Петропавловской крепости, – бежал с этапа…

Седьмого июля 1830 года этап остановился на привал у гнилого озера. Вода была вонючая, мерзкая. Берега поросли камышом: войдешь – и потеряешься, как в лесу. Уголовники, какие шли в Сибирь вместе с Лопаревым, собирали на берегу сухой камыш и жгли его возле багажных кибиток.

Ночью разыгралась гроза с проливным дождем, и Лопареву не спалось. Жандарм Ивашинин храпел рядом. «Бежать!» – будто услышал Лопарев чей-то голос.

Бежать… Берегом озера, подальше в степь от своей злосчастной судьбины! Думалось: верст десять – пятнадцать пройти степью, а там…

И Лопарев ушел.

Всю ночь брел под дождем, неведомо куда; с рассветом передохнул и поплелся степью дальше. Трижды встречались ему озера – солоноватые, горклые, но Лопарев не брезговал, утолял жажду и все шел, шел…

На вторые сутки повернул на запад, к тракту, как думал, но степь так и не разомкнула своих жарких объятий.

После грозы и дождя наступил иссушающий зной.

Знает ли кто, что такое степь безводная? Есть ли другое место на земле, где все так чуждо человеку, где земля бела от соли, а от необоримой жары сохнут даже глаза?

Под вечер пятых суток, когда солнце ткнулось в горизонт, у ног Лопарева мелькнула тень. Глянул кверху – орел! На сажень в размахе крыльев. Лопарев даже слышал, как шумели они, когда птица кружила над степью. Кобылица и жеребенок жались к нему, как бы моля о защите. Лопарев судорожно сжал палку, и в тот же миг орел камнем упал жеребенку на спину. Лопарев ударил орла, тот неистово забил крылом, словно подгоняя свою жертву. Лопарев, задохнувшись, ударил еще и еще уже из последних сил, и потом, когда окровавленная птица рухнула наземь, долго топтал ногами ее бесформенную тушу. Надрывный и тонкий крик жеребенка вплетался в тревожное ржание кобылицы. Так и стояли они вместе с человеком, будто судьба связала их одной веревкой…

В ночь на шестые сутки Лопарева одолевали видения: то мерещилась ему тринадцатая камера Секретного Дома; то кидала его соленая морская волна, и тогда еще сильнее томила жажда; то чудился ему двуглавый серебряный Эльбрус…

О Ядвига, Ядвига!..

Лопарев повстречался с пани Менцовской на водах, где она была вместе с Юлианом Сабинским, своим двоюродным братом. Сабинский слыл за ученого, говорил свободно на многих языках и держался с большим достоинством. Но Ядвига, Ядвига… Она будто никого не замечала, и никто не решался приблизиться к ней, кроме молодого князя Темирова, гвардейского поручика. Внезапно они рассорились. Как и что произошло, Лопарев не знал.

Возвращаясь с прогулки, уже после размолвки с гвардейцем, Ядвига подвернула ногу. У самой тропки, которой начинался подъем на Бештау, Лопарев услышал зов о помощи.

«Я бежал на этот голос, словно олень, – восстанавливал он в памяти и вновь переживал ту встречу. – Я бежал бы вечность. Я узнал ее тотчас, и мне почему-то стало страшно. Ползком Ядвига пыталась достигнуть дороги, ведущей в город. С ужасом глядел я на ее маленькую ножку, еле прикрытую изодранным платьем. Потом я увидел лицо Ядвиги: в слезах оно было прекрасным! Ее локоны ниспадали к плечам, а белая шляпка, перехваченная у шеи резинкой, была откинута за спину. Я стоял, не зная, что делать, и, вероятно, выглядел глупо, без конца бормоча сладостное сердцу имя.

„Нога… О матка боска! – со стоном проговорила Ядвига и что-то добавила по-польски, но я не понял. – Помогите ж мне!“

Осмотрев ногу в тонком чулке, я сказал, еле ворочая языком, что перелома нет, а только опухоль у щиколотки. Ядвига смотрела на меня, смигивая слезы. Я и теперь их вижу. Потом она спросила, знаком ли мне поручик Темиров. Да, я знавал князя, отчаянного дуэлянта и сканда-

листа. „Он обидел вас, пани?“ – спросил я. Губы ее дрогнули. „Нет такого поганого русского князя, который что-либо мог сделать з мною!“ – со злостью выговорила Ядвига, и я догадался, что между ними что-то произошло на Бештау. Затем она сказала, что больше никогда не поедет на кавказские воды, и пусть будут прокляты поганые московиты, пусть будет проклята Россия, погубившая ее отца, который бежал во Францию и умер там в изгнании. Я отвечал: „Россия не виновата, пани. Цари – еще не Россия. Разве, говорил я, презренный Наполеон был вся Франция? Он был изгнан с позором, а прекрасная Франция осталась, и французы остались французами… Так и у нас в России будет: настанет время, и презренных царей уничтожат, а Россия жить будет, и народы жить будут…“

Что я еще говорил?.. Ах да, – о ней, о ее красоте… Говорил о своей матери: она ведь тоже из Кракова, полячка, о друзьях моих рассказывал, особенно о тех, кто побывал во Франции, в Париже. О, с какими мыслями многие из них вернулись оттуда: о свободе народной они говорили, о революции, о конституции… Правда, я и словом Ядвиге не обмолвился ни о Северном, ни о Южном обществе, но дал ей знать, что в России есть люди, способные покончить с самодержавием.

Как удивилась и обрадовалась Ядвига. „О матка боска! – воскликнула она, сжимая мои руки. – Увижу ли свободную Польшу?!“ И я почему-то уверенно сказал, что настанет день, когда ее мечты сбудутся.

А теперь… Так много времени прошло! Но я не забыл ни Ядвиги, ни наших разговоров. Стремления, мечты мои и Ядвига – все это слилось в одно целое.

Даже в стенах Секретного Дома, с глухонемыми надзирателями, ее образ не покидал меня. Ядвига была утренней и вечерней моей звездою. Не было во мне большего желания, чем видеть и видеть ее, но мечтам этим не суждено было сбыться. И вот в горький час жизни моей, в этой безводной сибирской степи, я с нею и будто ощущаю ее теплые руки и вижу грустные ее глаза. Мне неотступно слышится грудной тембр ее голоса: „Я буду любить тебя. Ты хочешь этого? Я буду любить, видит Бог, говорю правду…“

– Ядвига, я перенес все пытки, но не предал нашу мечту… Ты слышишь, Ядвига, меня не сломили… И снова готов идти той же тернистой дорогой. Слышишь?

Безмолвие и тяжкая, тяжкая ночь…

Ты помнишь, как я нес тебя на руках в город? Твои руки были теплы и пахучи, а вся ты – невесомая, жаркая… О, как хотелось бы, чтобы это повторилось…

И все-таки ты не могла понять меня до конца: я не мог стать католиком, как ты хотела. И не потому, что я православный, – совсем нет: наша религия одна – на плаху венценосцев, свободу народам! Польскому, русскому, всем народам, населяющим империю под двуглавым орлом. Понимаешь ли ты меня?..»

Но кругом то же безмолвие и тяжкая ночь…

После знойного дня земля отдает свое тепло. Колоднику худо в степной духоте, и бредовые видения снова кидают его с волны на волну, как щепку в море.

Он опять с Ядвигою – там, на Бештау. И знойно, и душно, и нет ни глотка воды. Но он, колодник, несет на руках Ядвигу не в сторону Пятигорска, а к себе на Орловщину, в деревню Боровиково, в отцовское имение. Там у них парк с прохладою, такой чудесный пруд и вода, вода, кругом вода!

Но куда же за ними скачет хромая кобылица с жеребенком? Или она так и будет за ними скакать вечно? «Не гони ее, Александр, – шепчет Ядвига. – Пусть она будет с нами. Но куда же мы? Куда идем?» И глаза Ядвиги насыщены тревогою, какими он запомнил их в последний час расставания.

«Мы будем идти дальше, дальше! – бормочет колодник, вцепившись руками в хрустящий ковыль. – Ядвига, ты слышишь? Мы должны идти дальше…»

Колодник очнулся от призывного ржания кобылицы. Над степью все выше поднималось синее небо, а ему, колоднику, хотелось бы еще вернуть себе Ядвигу и движение, движение по каменистой тропе… Он, колодник Лопарев, должен встать и идти… «Но что теперь в том… Настал конец. Мой конец, Ядвига! И если я погибну здесь, помни: тебе завещаю жизнь и счастье.

Жизнь и счастье…»

III

Уже занялась над степью предутренняя голубень, когда Лопарев увидел зарево. Будто и близко стояло оно, но не верил глазам: может, снова видение?

Какая сила подняла его с земли, он и сам не знал. Он шел и шел, а зарево было все так же далеко. Когда показалось солнце, оно исчезло совсем, и тут, в утренней свежести, почудилось, будто лают собаки.

Лопарев упал и пополз на четвереньках. Он не мог вспомнить, куда девалась кобылица с жеребенком…

И вдруг, словно чудо, какое-то поселение открылось взору, и силы покинули Лопарева. Он позвал: «Люди!» Но было тихо. Темнел лес, – не мираж ли? Нет, зримость! Воды, воды, воды! – это было единственное, чего он жаждал, и чувствовал, что внутри у него все сгорело и обуглилось.

Воды, воды, воды!..

Накинулись лохматые псы. Лопарев уткнулся головой в землю и так лежал до тех пор, пока не склонились над ним трое бородачей – один другого старше; двое тощих и длинных, – в посконных рубахах до колен, в войлочных котелках, – сивобородые, угрюмые; третий – согбенный, кривоносый, с реденькой белой бородкой и босой; к правой ноге его была прикована пудовая гиря на железной цепи.

Отогнали собак, молча переглянулись и перекрестились ладонями.

– Эко! Человече Бог послал, – сказал длинный старик.

– По ногам и рукам закованный! Беглый, должно, – дополнил другой, длинный. – Каторга!

Кривоносый же фыркнул:

– Откель те ведомо, праведник Тимофей, што зришь человече, а не Сатано в рубище кандальника?

– Спаси и сохрани! – перекрестились двое.

Лопарев поднял голову: сивобородые мужики кружились перед глазами, и вся земля тоже качалась.

– Воды, воды, воды!..

– Сатано и в багрянице является, – продолжал кривоносый, пристально разглядывая колодника.

– Такоже, праведник Елисей! – поддакнул один из старцев.

– Ноне судному молению быть, – напомнил названный Елисеем с гирей у ноги. – Может, в яму к нечестивке ползет нечистый дух? А? Спаси и сохрани, Господи!..

Все трое истово осенили себя ладонями, отплевываясь от нечистого духа.

– Пить, пить…

– Ишь как вопиет! Воды просит, чтобы порчу навести на всех и в геенну огненну ввергнуть праведников. Беда будет! Беда!

– Спаси Христос! – поддакнули двое.

– Аз же хвалу Богу воздав, воспрошаю нечистого: хто такой будешь? – уставился Елисей. – Сказывай! Крест наложи на чело свое. Ну-ка же?

Лопарев перекрестился тремя перстами.

– Сатанинским кукишем осенил себя!

– Нечистый дух!

– Святейшего батюшку позвать надо…

– Да, чтоб нихто из правоверцев не зрил нечистого, – напомнил Елисей. – Грех будет.

– Грех! Грех!

– Осподи помилуй!

– Пить… ради Бога! – Лопарев уперся локтями в землю.

– Изыди вон! Изыди, изыди!

– Нету для тя воды, нечистый дух! – затрясся Елисей. – Смолу кипучу хлебай, хоть от пуза, и сам варись в той смоле. Правоверцев не совратить тебе, нечистый! Изыди! В геенну кипучу! Вон, вон!

– Батогами гнать надо, праведник Елисей! – подсказал кто-то.

– Пусть благостный батюшка Филарет глянет – тогда погоним, ужо. Топтать будем, ужо. Пинать будем, ужо. Такоже славно будет Исусе многомилостивому, Исусе пресладкому, Исусе многострадному! Аллилуйю воспоем на всенощном моленье.

– Воспоем, воспоем!..

Кандальник решительно ничего не разумел из всего этого.

– Благостный батюшка Филарет идет со старцами, – сообщил Елисей и опустился на колени; двое других сделали то же.

– Люди! Или вы глухи? Помогите же! – тщетно молил Лопарев, пытаясь встать на ноги.

Сутулый, тщедушный Елисей торжественно затянул:

– Батюшка Филарет наш многомилостивый, многоправедный, яко сам Спаситель, благостный и пресладкий, спаси нас от погибели!

Двое, бородами касаясь земли, разом подхватили:

– Спаси нас! Спаси нас!

Елисей воздел руки к небу.

– Духовник наш многомилостивый, отец родной наш, покровитель наш и яко Спаситель, оборони от нечистого! Сатано приполз к становищу! Рога зрил; хвост зрил; огнь из горла исторгался, и смрадный дым шел. Аминь!..

Лопарев окончательно сбился с толку. О каком Сатане плел старикашка? И что они за люди? Будто мужики, и на мужиков не похожи. И кто этот их многомилостивый покровитель? Собрав все силы, он стал подыматься с земли и тут увидел, как двигался к нему некий старец, вид которого поверг Лопарева в трепет.

Старец был необыкновенно высок, с царя Петра, костлявый, прямой; на белой рубахе до колен искрилась такая же белая аршинная борода: поверх нее лежала толстая золотая цепь – увесистый осьмиконечный золотой крест. Холщовая рубаха была перетянута широким ремнем по чреслам; длинные белые космы, ни разу, видать, не стриженные, спускались ниже плеч. Старец был бос и шел величаво, опираясь на толстый посох с золотым набалдашником и железным наконечником, – точь-в-точь Иван Грозный со старинной иконы. И такой же горбоносый.

– Кого Бог послал? – подойдя, спросил он. – Подымитесь, праведники. Спаси вас Христос.

– Спаси Христос, батюшка Филарет! – поднялись праведники, крестясь.

Старец грозно огляделся:

– Где зрите Филарета? Али у алтаря, на моленье? Из памяти вышибло, должно? Не вижу Филарета, старца. Игде он?

Старики испуганно переглянулись.

– Нету, нету! – подтвердил догадливый Елисей. – Бог даст, увидим. На моленье увидим, яко Спасителя. Воспоем аллилуйю, праведники, батюшке Филарету.

– Аллилуйя, аллилуйя! – воспели бородачи.

Старец стукнул посохом, сердито напомнил:

– Когда явится к нам батюшка Филарет, тогда и аллилуйю петь будем. Кого Бог послал – сказывайте! – кивнул на Лопарева.

Подобострастный Елисей сообщил, что вот, мол, явился нечистый дух в облике кандальника, чтобы порчу навести на древних христиан, и что он, Елисей, на какой-то миг собственными глазами увидел на сатанинском лбу рога, и огонь с дымом из пасти шел.

– Такоже. Такоже, – поддакнули старики.

– Православный я! Православный! – не выдержал Лопарев и перекрестился щепотью. – Я православный, русский…

Старец с посохом ворчливо ответил:

– А мы – люди Божьи. Не русские и не православные, а праведные христиане.

– Куда ж я, люди? Шестые сутки без крошки хлеба. Люди!.. – путаясь в словах от слабости, бормотал Лопарев.

– Никоновой щепотью молишься? – уставился на него старец. – Стал-быть Анчихристу молишься. Иуда брал соль щепотью, а никониане, собакины дети, купель Божию щепотью осеняют. Спасителя Исуса Иисусом зовут, как нечестивцы. За семнадцать праведных поклонов – четыре бьют; усердие Богу во мзду обратили. Аллилуйю во храме Божьем поют три раза, а не два, как по старой вере. Оттого и погибель будет.

Он тронул посохом кандалы:

– За какой грех закован? Правду глаголь. Срамные уста лживостью сами себя губят. А Бог, Он все видит и слышит.

– Воды! Хоть глоток воды!..

Подумав, старец оглянулся на мужиков:

– Скажите там Ефимии, пусть принесет для болящего, пришлого с ветра. Живо мне!

Один из мужиков побежал. Старец опустился на колени и осмотрел, как заклепаны железные кольца на ногах.

– Эко! Крепко привязал тебя царь своей милостью-радостью. Ну да цепи люди сымут. Вольным будешь, ежели скажешь, пошто закован.

– За восстание закован. Царю Николаю не присягнул.

– Царю-анчихристу?! Дивно! За восстание, говоришь?

Лопарев полагал: вся Русь знает про то, что свершилось 14 декабря. Но старец про восстание ничего не слышал.

– В самом Петербурге? Тихо, Божьи люди!

Лопарев сказал, что часть войска в столице во главе с офицерами отказалась присягнуть Николаю, царь жестоко подавил восстание, а потом учинил суд и расправу. Солдат прогнали сквозь строй и били шпицрутенами. Тех, кто выжил, заковали в кандалы и отправили на каторжные работы и на вечное поселение в Сибирь. Офицеров не били шпицрутенами, но пятерых повесили в Петропавловской крепости, остальных приговорили к разным срокам каторги, к вечному поселению в Сибири, разжаловали в рядовые. И что он, колодник, успел бежать в Ревель, но вскоре был опознан и пойман, доставлен в Петропавловскую крепость, а потом по личному приказу царя заточен в Секретный Дом, и что он бежал с этапа, плутал по степи и вот вышел к ним…

– Много ли солдат забили палками? – спросил старец.

Лопарев числа назвать не мог. Должно, много.

– Праведный ты человек, кандальник, коль на царя-анчихриста топор поднял. На плаху бы царя-то, на плаху! – одобрительно гудел старец, пощипывая бороду. – А мы-то ни слухом ни духом не ведали про восстание!.. Помогите, мужики, человече и отведите к Мокеевой телеге. Живо мне! Не дам тебя в обиду, раб Божий. Хоть и не нашей веры-правды,

но на праведном деле мучение принял. Вот и привел тебя Господь к становищу древних христиан. Не принимаем мы власть царя-анчихриста, оттого и ушли с Поморья в Сибирь студеную. Не раз подымался народ на анчихриста, но не одолел. Слышал, может, про осударя Петра Федоровича? Царствие небесное осударю-батюшке! – Старец перекрестился и, завидев женщину в черном платке, позвал: – Подь сюда, Ефимия.

Женщина подошла. Старец принял из ее рук берестяную посуду, спросил: кипячена ли вода?

– Нет, батюшка. Речная.

Старец вылил воду. Лопарев вскрикнул.

– Погоди, сын Божий. Нельзя сырую пить-то, коль ты обгорел изнутри.

IV

Долгим показался колоднику путь до того места, где находилась телега.

И вдруг, сразу, промеж двух рябиновых прибрежных кустов увидел он спокойную синь речной воды. Рванулся, но мужики удержали.

Над степью, за рекой, вставало солнце вполкруга, и тени от берез отпечатались длинные, пронизанные багрянцем. И небо розовело, и степь, и птицы, перелетающие с дерева на дерево. Певучая звонкость как бы призывала к движению и радости. В поределой роще виднелся пригон для скота, оттуда шли женщины с подойниками, повязанные платками до самых бровей, украдкой взглядывая на небывалого человека в кандалах.

Отроки в длинных холщовых рубахах и без штанов шли следом за Лопаревым, покуда не оглянулся один из бородачей и не погрозил батогом.

Замычали коровы. За Ишимом кочевники в малахаях, рассевшись на берегу, курили трубки.

Лопарева подвели к телеге и усадили на сухое, шуршащее сено под холщовым пологом.

Старец сам подал кружку с кипяченой водой, Лопарев выпил ее одним махом.

– Еще!

– Погоди ужо, раб Божий. Который день без воды-то?

– Четвертые сутки. Кружил по степи, пять раз выходил на один и тот же курган.

– Ишь ты! Нутро перегорело, значит. Сушь, жарища. Не тебя ли Анчихристовы слуги искали третьеводни? При шашках, конные. Наехали на наше становище. Допытывались: не прячется ли государев преступник. Разумей потому, как экую напасть обойти. И мы поможем. Как твое имя-прозвание от Бога и родителя?

– Александр, Михайлов сын, Лопарев по фамилии.

– Из барского сословия?

– Из дворян. Мичманом служил, по суду разжалован и лишен всех званий…

Старец что-то припоминал, поглаживая бороду.

– Слыхивал Лопаревых. Когда еще парнем ходил, на барщине хрип гнул у помещика Лопарева в Орловской губернии. Не из Орловщины?

Лопарев будто испугался.

– Толкуй правду, человече! Когда я проживал на Орловщине, тебя на свете не было. Может, дед твой? При военном звании состоял.

Лопарев признался, что дед его, Василием Александровичем звали, действительно «при военном звании состоял»: служил полковником у Суворова. Умер в своем имении на Орловщине.

– Имение-то Боровиковским прозывалось?

– Боровиковским.

– И деревня там – Боровикова?

– Боровикова…

Старец покачал головой:

– С той деревни и я. Там, почитай, все из Боровиковых состоят. Слыхивал, может, от деда, как он выиграл в карты именье и три деревни в придачу? Семьсот душ на карту взял! Эх-хе-хе! Житие барское да дворянское. Родитель мой Наум Мефодьев, тоже по прозванию Боровиков, старостой был, когда помещик проиграл крепостных твоему деду. Слово такое сказал – два помещика взъярились, яко звери лютые. Палками бит был нещадно за слово и тут же смерть принял. Несмышленышем был тогда, а помню, как кровью изошел батюшка мой.

– Помилуй, Господи! – разом перекрестились бородачи.

– Господь милует, да зверь год от году лютеет, – проговорил старец. – Стал-быть, земляки мы с тобой, Александра, Михайлов сын. Ишь ты! Земля-то велика, да люди текучие.

Обращаясь к бородачам, наказал:

– Погрозите чадам своим, женам своим и всей общине, чтобы никто не подходил к телеге. Никто из вас не видывал кандальника и слыхом не слыхивал. Где Микула-то?

– Микула-а-а! – гаркнули в три глотки.

– …ку-ла, ку-ла-а, – отозвались кочевники с того берега.

Старец плюнул в их сторону.

– Ипеть зырятся, нехристи, собакины дети!.. Мы тут с осени. Травой запаслись для скота, в землю зарылись. Ходоков послали на Енисей-реку. Сказывают: места там как вроде наши, Поморские, лесные. Сын мой на Енисей-реку ушел со товарищами. Вот возвернутся к страде, должно, и мы поедем.

Подошел рыжебородый кряжистый богатырь с кузнечным инструментом в руках.

– Звал, отче? – поклонился старцу.

– Звал, Микула. Сподобил тебя Господь разбить анчихристовы поковки да в реку Ишим закинуть и плюнуть им вослед трижды. Аминь!

– Нашей ли он веры, отче? – уставился Микула на кандальника.

– Сказывал на моленьях: кто подымет топор на царя-анчихриста и на поганое войско, тот нашей веры-правды.

– Благослови, отче, струмент, – склонил богатырь голову.

Старец благословил.

Микула, встав на колени, осмотрел цепи, заклепки.

– Как навек закован.

Старец подал еще кружку воды Лопареву и наказал Ефимии, чтобы она сготовила взвар из курицы.

– Оно хоша и пост ноне, да человече подымать надо. А ты, Ларивон, заруби курицу.

– Неможно, батюшка… – попятился Ларивон, в сажень ростом. – Грех будет.

– Сымаю грех тот перед Небом чистым. Молебствие будет – замолим. Ступай с Богом. Руби!

Ларивон поплелся рубить курицу.

Покуда Микула орудовал напильником и зубилом, старец толковал про вольную волюшку, про справедливого «осударя Петра Федоровича», ни разу не обмолвившись, что под тем именем скрывался беглый донской казак Пугачев.

– Не одолели мы царское войско втапоры, – гудел старец. – Ну да срок не ушел. Полыхнет по земле пламя горючее, и тогда не спастись от погибели сатанинскому престолу и кабале, в какой мается народ на святой Руси. Грядет день, грядет!

Микула одолел последнюю заклепку.

Старец принял от него кандалы:

– Эка тяжесть…

Кандальные цепи кинули в Ишим и трижды плюнули. Микула дальше всех.

Тем временем черноглазая молодка Ефимия готовила куриный взвар. Старец наказал ей, чтобы она не перепутала посуду, из которой попотчует кандальника.

– Грех будет.

На что Ефимия ответила:

– Ведаю, батюшка.

– Да чтоб он про то не ведал. Да, слышь: кандальником не зови. И чтоб никто слово такое не ронял всуе. Нету кандальника, был человече с ветра и ушел на ветер.

Ефимия не уразумела, что хотел сказать старец.

– Говорю: ушел на ветер, и все должны то знать. А покель поживет под твоей телегой втайности. Ты будешь кормить его, выхаживать, чтоб хворь к нему не пристала. Мучение великое принял он, потому и помощь окажем. Да гляди, язык держи на привязи. Расспросов не учиняй, слышишь? Вера у него никонианская, поганая.

– Как же мне быть, батюшка? Можно ли никонианина видеть? Срамника?

– И на нечистого с крестом да с молитвой идут. И Бог обороняет от погибели. Аминь.

– Аминь, – в пояс поклонилась Ефимия.

К полудню, когда Лопарев крепко спал под телегой, сын старца Ларивон наметал наверх полкопны ковыльного сена, обставил вокруг хворостом так, что не узнаешь, что под копною запрятана телега, а под телегой – беглый государев преступник, которого ищут сейчас от Камы до Оби.

V

…Все тот же жуткий сон: каменный пол, железная дверь и – тишина. Гробовая тишина.

Тринадцатая камера в Секретном Доме…

Он опять здесь, мичман Лопарев. Хоть бы раз увидеть солнце над головою, услышать человеческий голос!

Лопарев мечется по камере, зовет, стучит кулаками в железную дверь – но тщетно! Ни голоса в ответ. Может, он заживо погребен в каменном склепе, и никто не узнает, что он не погнул спины перед тираном.

Но что это? Стены тюрьмы наполнились кровью. Кровь капает с потолка. Лопарев хочет крикнуть, но голос пропал, и он чувствует, как цепенеют руки и ноги…

Лопарев очнулся и не сразу сообразил, где он и что с ним.

Душно и жарко. Ноют плечи и спина. И сушь, сушь во рту. Пить, пить… Когда же он напьется? Где-то он видел реку. Когда и где?

Пахучее, шуршащее сено. Как он сюда попал? Ах да! Бежал с этапа. Плутал по безводью. Неделю, две, месяц? Целую вечность! С ним плелась хромая кобылица с жеребенком. Куда они делись? Он не помнит. Может, и не было ни кобылицы, ни жажды, ни побега с этапа, ни кандалов…

Он схватил себя за руку:

– Боже! Кандалов нету! – И сразу вспомнил встречу с угрюмыми бородачами и старца с белой бородой ниже пояса, и как неподатливо скрипело железо, а кузнец Микула молча и деловито пилил заклепки…

«Дзззз-дзз-дззз», – пел напильник.

– Царь милостив! Покайся!

Лопарев заскрипел зубами.

Покаяться? Перед царем-вешателем?

И он вспомнил вытаращенные глаза Николая, когда видел его совсем близко на Сенатской площади в тот морозный день 14 декабря, и корнет кавалергардского полка Муравьев-младший сказал:

– Гляди, Лопарев: вот он, престолонаследник! Жалкая скотина. Видишь, как он озирается? В такую скотину не выстрелит пистолет.

И – не выстрелил. Может, именно потому, что все видели, каким был трусоватым и жалким претендент на престол?..

Потом – картечь. Комья утоптанного снега, крики и стон, и свист пуль.

Они беспорядочно отступили. Кто куда.

«Как это могло случиться? Кто виноват? Пестель? Муравьев? Кто виноват, что восстание провалилось?» – спрашивал себя Лопарев тот раз, когда бежал в Ревель.

Не минуло трех недель, как его схватили и доставили в Петропавловскую крепость. Он не знал, кто взят, кто сидит в соседней камере, кто и какие давал показания. Он ничего не знал и все отрицал. Генерал-адъютант Чернышев грозился:

– Ты сгниешь в крепости, жалкий мичманишка!

Еще была одна ночь. Непогодная, мартовская. Лопарева вывели из дворика тюрьмы, усадили в черную карету, бок о бок с комендантом крепости генералом Сукиным, и повезли в Зимний дворец, где он во второй раз свиделся с Николаем.

Царь возвышался над столом.

Генерал-адъютант Чернышев занимал место слева, граф Бенкендорф – справа.

Генерал Сукин представил арестованного.

Лопарев не упал на колени, как это сделали некоторые участники заговора и восстания. Твердо и спокойно ответил на пронзительно-голубой взгляд царя.

– Сын подполковника лейб-гвардии Михайлы Васильевича? – спросил и, не дожидаясь ответа, дополнил: – Достойно сожаления, что у почтенных отцов, верных престолу и отечеству, преступные дети.

– Достойно сожаления, ваше императорское величество, – отозвался генерал-адъютант Чернышев. – Еще более нетерпимо, когда изобличенные преступники упорствуют в своих показаниях, ведут себя крайне дерзко, стараясь утаить от следствия крамольные связи с сообщниками…

В предварительном следствии мичман Лопарев проходил по восьмому разряду: его могли разжаловать, сослать на Кавказ под пули чеченцев или приговорить к каторге и поселению в Сибири.

Была одна малая зацепка: в июне 1825 года мичман Лопарев, пользуясь месячным увольнением по причине тяжелой болезни матери, вдруг уехал не к родителям в имение, а в Варшаву, где пробыл пять суток у невесты Ядвиги Менцовской, с которой будто бы поссорился. Менцовская заявила, что ничего не знала о принадлежности жениха к тайному обществу. Никаких документов, изобличающих мичмана, у следственной комиссии не было. Так бы и остался вопрос открытым, если бы сам царь не усомнился: подумать только – ездил в Варшаву! Это же все равно что к дьяволу в пекло. Не проходило ни одной тайной молитвы, когда бы царь не оглядывался на Варшаву. Это же Варшава!

Вот почему у него сорвался голос, когда он потребовал:

– Назови сообщников в Варшаве! По чьему поручению ездил? С кем ты встречался? Отвечай! – Он ко всем обращался на «ты».

Лопарев молчал.

Комендант крепости генерал Сукин, тараща глаза, прошипел сквозь зубы:

– Отвечайте!

Лопарев передернул плечами и, глядя в упор на царя, проговорил:

– Я ездил в Варшаву повидаться с невестой. Более ничего не могу сообщить.

– На колени! – ткнул царь кулаком в стол.

– На колени! На колени! – подтолкнул в спину Сукин.

Лопарев вытянулся, как на параде.

– Я отвечаю, ваше императорское величество, только за свои деяния и поступки. За других отвечать не могу и никого не назову. В Варшаве я виделся только с невестой, Ядвигой Менцовской.

Царь хлопнул ладонью по столу:

– Лжешь! Даю тебе три минуты. Только три. Назови заговорщиков в Варшаве! Фамилии!

Лопарев не назвал ни одной и даже отказался сообщить, какие разговоры вел с Пестелем в доме Никиты Муравьева на Фонтанке, где собирался штаб тайного общества.

Николай посмотрел на часы.

– Ну что же, вижу, тебе мало трех минут. Очень жаль. – И шевельнул плечом в сторону Сукина, ожидавшего приказа. – Я думаю, место сыщется в Секретном Доме?

– Так точно, ваше императорское величество! Можно в тринадцатую.

– Водворите. – И, глянув на Лопарева, царь неожиданно улыбнулся: – Жалея вас, вашу молодость, Лопарев, я предоставлю последнюю возможность подумать. Я терпелив. Прощаю дерзость, но не могу простить упорствования в сокрытии преступников. Сожалею. Очень сожалею!..

Голос его дрогнул, и Лопареву почудилось, будто царевы глаза увлажнились: он не знал того, что эти мнимые слезы венценосца побудили Каховского составить покаянное письмо, в котором он принес царю полное признание, а самому себе – виселицу…

Нет, не напрасно Николай брал в ту пору уроки у актера Каратыгина…

VI

Было за полночь, когда Сукин доставил Лопарева в Секретный Дом.

– Тринадцатый номер. В тринадцатую камеру. – Слова генерала означали, что с этой минуты узник утратил имя и звание и стал тринадцатым номером.

Никто, ни единая душа не могла проведать о человеке, упрятанном в Секретный Дом. Тот, кто попадал сюда, как бы живьем уходил в могилу…

На столике – кружка, Евангелие и несколько листов бумаги из канцелярии генерал-адъютанта Чернышева.

Каждое утро в четверг, когда вместе с пищей Лопареву подавали три листика бумаги с типографским заголовком, он метался по камере, повторял одно и то же: «Не было сообщников, не было сообщников!» – и писал рапорт в канцелярию Чернышева.

Надзиратели в Секретном Доме не отзывались на вопросы, и Лопарев уверился, что все они были глухонемые. Позднее он узнал, что из Секретного Дома за все существование не сбежал ни один узник!

Время тянулось мучительно однообразно. В соседней камере беспрестанно орал сумасшедший. Лопарев потерял счет дням и одичал до того, что и разговаривать разучился…

Тринадцатого июля 1826 года его вывели из камеры, молча кинули парадный мундир, и он оделся.

Над Петербургом зачиналась заря. Лопарев не знал, какое было число и какой месяц. Жандарм принял его от надзирателя Секретного Дома и провел в крепость, а потом на гласис, где находились участники неудавшегося восстания 14 декабря, размещенные по категориям.

– Лопарев! Ты ли это, Александр?!

Лопарев узнал братьев Беляевых – мичманов гвардейского экипажа, хотел кинуться к ним, но жандарм схватил за руку.

Александр Муравьев, корнет кавалергардского полка, помахал ему: прощай, мол, брат!

Никита Муравьев, капитан гвардейского Генерального штаба, составитель конституции, в доме которого на Фонтанке часто бывал Лопарев, стоял в окружении жандармов, безучастный ко всему.

Друзья-товарищи… Но ни поговорить, ни пожать друг другу руки!

Перед глазами маячила виселица с пятью веревками на одной перекладине…

Предутренняя зорька румянила небо. Дымились костры, Лопарев не понимал, к чему это.

Чуть в стороне, поближе к плац-кронверку крепости, в плотном кольце жандармов, стояли пятеро: Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев, Каховский и поэт Рылеев. Неужели?

Страшась своей мысли, Лопарев поглядел на перекладину с пятью веревками. Не может быть!..

Генерал-адъютант Чернышев, гарцуя на коне, подал знак, и началась церемония разжалования и чтение приговоров.

Лопарев увидел, как заслуженный герой Отечественной войны, тридцативосьмилетний генерал-майор Сергей Волконский снял с себя сюртук, увешанный боевыми регалиями, и кинул в костер – не хотел, чтобы жандармы сорвали его. Лопарев намеревался сделать то же, что и Волконский, но не успел: жандарм вцепился в воротник, стащил с плеч мундир, швырнул в огонь.

Весь гласис заволокло чадом сжигаемого сукна.

Затем над головами осужденных стали ломать шпаги.

Чадно и тяжко, тяжко!..

«По высочайшему повелению…»

Зачинался рассвет, но Лопареву казалось, будто над гласисом крепости, над плац-кронверком, где мрачно вырисовывалась виселица, над всем Петербургом с прохладной Невою опускалась долгая ночь, которой никому из них не пережить…

Вечная ночь…

Солдаты били в барабаны. Розовело небо. На золотом шпиле собора вспыхнули золотые лучи…

Не узнавали друг друга в арестантских одеждах.

Желтели на спинах бубновые тузы…

Пятерых построили под перекладиной. Над каждым спускалась пеньковая петля. Тех самых, пятерых…

Лопареву хотелось крикнуть, но он не мог вызвать из окаменевшей груди ни малейшего звука.

Когда трое сорвались – Муравьев-Апостол, Рылеев, Каховский, – среди осужденных на каторгу послышались стоны.

Кто-то крикнул:

– Дважды не вешают!

И звонкий голос Рылеева:

– Я счастлив, что дважды за Отечество умираю!

Генерал-адъютант Чернышев гарцевал на коне…

Лопарев не помнил, как отводил его жандарм в Секретный Дом.

Двери тринадцатой камеры захлопнулись, как крышка гроба…

И опять потянулись дни и ночи… Теперь узнику не подавали в окошечко бумагу с гербом и заголовком и голоса призраков не поднимали с постели.

Позднее, когда погнали этапом в Сибирь на каторгу, Лопарев подсчитал, что провел в Секретном Доме после объявления приговора девятьсот девяносто один день!..

Тяжкая, тяжкая ночь легла над Россией. Неужели на веки вечные?

VII

Лопарев выполз из-под телеги. Вечерело. Солнце закатилось, но было еще светло.

Возле старой изогнувшейся березы, у тлеющего костра, сидела на пне Ефимия, невестка старца, в длинной льняной юбке, закрывающей ноги, в бордовой кофте, с рукавами до запястья, в неизменном черном платке, повязанном до бровей. На коленях у нее лежала раскрытая Библия. У костра возился мальчонка лет пяти, белоголовый, щекастый, в холщовой рубахе до пят. На тагане висел прокоптелый котелок. В трех шагах от костра темнело еще одно пепелище, с печуркой, чугунами и глиняными кринками. Поодаль – еще одна телега с поднятыми оглоблями, со сбруей.

Ефимия до того углубилась в чтение Библии, что не слышала, как выполз из своего убежища Лопарев.

Мальчонка вытаращил глаза на незнакомого дядю и заревел, ухватившись за подол матери.

– Барин! – ахнула Ефимия, закрыв Библию и схватив сына на руки.

Лопарев удивился:

– Чего так испугались? Я не зверь.

– Нельзя вам выходить, барин, – промолвила Ефимия, поднимаясь и пятясь к толстой березе. – Батюшка Филарет наказал, чтоб вы таились под телегой.

– Батюшка Филарет? – Лопарев не знал такого.

– Старец общины.

– Тот старик, с которым я разговаривал?

– Если что надо, барин, подайте голос. Я буду всегда тут, поблизости. Вода вон в берестяной посуде возле телеги. Прокипяченная и остуженная. Ужин сготовила вам, только… спрячьтесь под телегу.

– От кого мне прятаться? Здесь же нет жандармов или казаков?

– Упаси Бог!

– Чего же мне прятаться?

– Так повелел батюшка Филарет. Чтоб никто из общины не смел зрить вас, разговор вести.

– Почему?

– Верование ваше чуждо. Анчихристово.

– Да ведь вся Русь православная!

– Не вся, не вся! – поспешно открестилась Ефимия, прижимая сына лицом к груди. – Есть на святой Руси праведники. Есть! Хоть малым числом, да блюдут святость старой веры.

– Старой веры?

– Аль вы не слыхивали, как нечестивый патриарх Никон совратил Церковь с пути истинного? Как он Святое Писание извратил да опоганил? Как на Вселенском соборе попрал ногами праведников и самого Аввакума-великомученика да возвел в чин и благолепие еретиков поганых да мздоимцев жадных?

Нет, Лопарев ничего подобного не слыхал.

– От него великий грех вышел, от того Никона. Проклят он на веки вечные.

Ефимия тревожно оглянулась. Кругом – ни души. Тихо лопотала старая береза. Поблизости мычала корова – призывно и долго. Где-то в березняке фыркали лошади. Рядом синела тиховодная река.

Лопарев спросил, что за река.

– Ишимом прозывается, – ответила Ефимия.

– И рыбу можно ловить?

– Ловят мужики. Да нету такой рыбы, как в нашем Студеном море. Мы оттуда вышли, с Поморья.

– Это же очень далеко!

– Для сохранения старой веры нету близкой дороги. И в Поморье дошли анчихристовы слуги со своим крестом да с ружьями. Вот и убежали мы общиною в Сибирь.

Лопарев хотел взглянуть на Ишим.

– Нельзя, барин! Нельзя! – перепугалась Ефимия. – Старец разгневается и прогонит. Не гневайте старца! Набирайтесь тела, силы, а потом сами обдумаете, куда уходить. Да и нехристи могут увидеть с того берега.

– Нехристи?

– Дикие киргизы или татары сибирские, не ведаю, – ответила Ефимия. – Они могут и стрелу пустить.

Лопарев спросил, где же люди, старец.

– Вся община на всенощном моленье, – сообщила Ефимия. – Малые дети спят. Старухи доглядывают за ними. А так все на моленье за лесом. Там у нас часовня поставлена. Люди захоронены, которые померли за зиму и весну. Спрячьтесь, барин! Нельзя так стоять-то. Худо будет. И мне и вам…

– Что у вас за община такая строгая?

– Филаретовская община, – вздохнула Ефимия. – Погодите, барин, я парнишку отнесу к старухе. Возьмите котелок, ужинайте. Хлеб там лежит. Я скоро вернусь. Не выходите на берег! Упаси Бог.

Лопарев поглядел Ефимии вслед, горько усмехнулся. Вот так вольная волюшка. Что же это за община, если сами себя на каторгу гонят?..

VIII

Смеркалось. Покатое небо за Ишимом играло зарницей. Полыхнет пламенем и тут же потухнет. Такую же зарницу Лопарев видел в Кронштадте, когда вышел в мичманы гвардейского экипажа, и радовался. Чему? Мичманской солености? И вот другая зарница, сибирская, а Лопареву тошно.

Беглый каторжник!..

Велика Русь, а деться некуда. По трактовым дороженькам гремят оковы, а чуть в сторону – темень людская, хоть глаз выколи.

Муторно!..

Ефимии все еще нет. Может, не явится? Лопарев так и не успел разглядеть, какая она. Видел черные молодые глаза, настороженные и цепкие. Чем-то она похожа на его невесту, Ядвигу Менцовскую, только в ином наряде.

Лопарев успел поужинать, но не полез под телегу. Духота. Ночью, должно, разыграется гроза.

Послышались шаги. Мягкие, шуршащие.

– Не спите, барин? – Голос тихий, как шелест листьев на старой березе. – Ужинали?

– Спасибо, Ефимия. Ужинал.

– Тсс! По имени не зови. Если кто услышит – беда мне.

– Как же звать?

– Никак. Нельзя мне вступать в разговор с вами, а… вот пришла. Ну мой грех, мне и ответ держать. – И, помолчав, сообщила: – Да ночь-то сегодня такая – все на судное моленье ушли.

– Судное моленье?

– Тсс! Говорите тише, барин. – Ефимия оглянулась, приглядываясь к лесу: совсем близко фыркнула лошадь. – А мне-то померещилось, будто кто крадется. – И, взглянув на Лопарева, опустилась на землю. – Видите, не боюсь, барин. Только если кому скажете, что я говорила с вами, тогда опустят меня в яму.

– В яму?!

– И огнем сожгут, яко еретичку нечестивую.

В сумерках лицо Ефимии казалось белым, особенно зубы, сверкающие, как серебряные подковки. Голос у нее был тихий, но задушевный и тягучий, как смолка на пихтах в июле. Ее что-то беспокоило, она хотела что-то сказать и боялась, как бы кто не подслушал. Ее волнение передалось Лопареву.

– Что у вас за община такая страшная? – вполголоса спросил он.

– Ой, страшная, барин! Страшная!

– Не зови меня барином. Какой я барин – колодник.

– Про колодника батюшка Филарет наказал, чтоб я и во сне не обмолвилась.

И, вздрогнув, спросила:

– А какое ваше званье?

– Из дворян. Но лишен судом всех сословных званий и состояния.

– Правда, что сам Филарет из ваших крепостных? Беглый будто?

– Этого я не знаю.

– Он говорил, что из Боровиковой деревни, а деревня ваша. И что ваш дед насмерть прибил отца Филаретова. Правда ли?

– Не слышал. Я мало жил в имении родителей. С детства в Петербурге.

– А в Москве бывали?

– Бывал.

– Ой! А Преображенский монастырь видели?

Нет, Лопарев ничего не знает про такой монастырь.

– А я в том монастыре родилась, – тихо промолвила Ефимия, потупя голову. – Из монастыря того на встречу Наполеона ходила.

– Наполеона?

– Тсс! Потом скажу. Ой, кабы не крепость Филаретова, поговорили бы мы, побеседовали! Сколь годков не встречалась с человеком с воли!

– Да что же это за крепость, если даже говорить запрещено! Какая же это вера?

– Крепость наша Филаретовская. Как Филипповская. Едный толк был.

И вдруг предупредила:

– Глядите, барин, не назовите «осударя Петра Федоровича» Пугачевым. Батюшка Филарет разгневается!

– Да разве он был государем, Пугачев?

– Был, нет ли, про то не ведаю. Под именем «осударя Петра Федоровича» шел на Москву, чтоб взять престол.

Лопарев слышал в Петербурге, что до казни сам Пугачев заточен был в Кексгольмскую крепость, в отдельную башню, вместе с женою, двумя дочерьми, сыном и еще одной женщиной, которую он именовал «императрицей Екатериной Алексеевной»… В той же «пугачевской» башне, много лет спустя, заточены были трое из декабристов, которых знал Лопарев: Горбачевский, Барятинский и Спиридонов.

Пугачева казнили в Москве в 1775 году, а в 1834 году умерла в крепости его сестра, последняя из Пугачевых, про которую потом говорил Пушкину царь Николай Первый…

Из Кексгольмской крепости было только две дороги: либо на виселицу или лобное место, либо на каторгу…

Декабристам вышла каторга.

IX

Лопарев спросил, что же такое «Филаретовский толк».

– Тсс! – Послушать надо. – Ефимия поднялась и обошла вокруг становища, вернулась.

– Толк-то? Самый лютый, – начала она. – Выговский Церковный собор порешил, чтоб совершать моления во здравие царя Николая и подать платить, вот и ушел с того собора батюшка Филарет, духовник того собора, а с ним Филипп-строжайший. Филипповцы сожгли себя в избах, на кострах, а Филарет надумал увести общину в Сибирь, в потайное место, чтобы царские слуги рукой не достали.

Ефимия вздохнула:

– Батюшка Филарет – наш старец, духовник. Как он скажет, так и будет. Он всю власть вершит. Казнит и милует. Вся община под его рукой ходит. И стар и млад.

Ефимия рассказала про обычаи в общине. Без слова старца никто не смеет заговорить с посторонними: никто не смеет назвать старца по имени. Нельзя отлучаться из общины – великий грех. Женщина не смеет подать голос, если мужчина стоит рядом. Нельзя открыть голову, даже в постель ложатся в платках. На духовника женщина не смеет поднять глаз – грех будет. Каждый имеет свою посуду: кружку, ложку, вилку, хлебальную чашку, котелок, черпак, винную посуду и к чужой не смеет прикасаться – тяжкий грех, осквернение. Женщине нельзя садиться за стол с мужчиною. Молитву начинает мужчина. Молитва и крест – на каждом шагу. «Без Бога ни до порога». Если кто увидит, что мужчина целуется с женщиной, немедленно совершается молебствие очищения плоти и духа от нечистой силы, виновников подвергают наказанию. Белица выходит замуж только по указанию старца, духовника.

– На Волге, слышь, приключилась беда, – продолжала Ефимия. – Белица из нашей общины хотела убежать замуж за тамошнего парня из Даниловского толка. Поймали ее и на суд привели. Белица не отреклась. Тогда ее сожгли на костре.

– Это же, это же… преступление! – возмутился Лопарев.

– Тсс, барин! Сама ведаю, да молчу. Куда денешься? Кабы вы знали, как я попала в Филаретовский толк…

– Уйти можно!

– Ой, барин. Куда от петли уйдешь, коль она на шее? Я-то из Федосеевского толка. Московского…

По словам Ефимии, Федосеевский толк возник в 1771 году в Москве во время повальной чумы.

Основатели толка – Федосей Васильев и купец Ковылин – выпросили у правительства землю возле Преображенской заставы и устроили там карантин. Всех, кто бежал из Москвы, задерживали, поясняя беженцам, что чума послана в Москву в наказание за никонианство. Чаны с водою, специально приготовленные, служили для крещения в новую веру. В Москве в ту пору опустело много домов. Федосеевцы подбирали мертвых, а заодно свозили к себе все ценности из опустевших домов: старинные иконы рублевского письма, бархат, парчу, персидские шелка, деньги. Вскоре касса Федосея оказалась настолько богатой, что денег хватило поставить несколько каменных домов со всеми хозяйственными пристройками. При каждом корпусе была сооружена моленная часовня. Городок обнесли высокой стеной и назвали Федосеевским монастырем. Все живущие в монастыре получали особую одежду: мужчины – кафтаны, отороченные черными шкурками, с тремя складками на лифе, застегивающимися на восемь пуговиц, и сапоги на высоких каблуках, женщины – черные плисовые повязки, черные платки и синие сарафаны с золотыми прошвами.

Когда Наполеон подошел к Москве, федосеевцы успели все ценное имущество вывезти во Владимирскую губернию; туда же отправили жителей Преображенского монастыря. Остались только белицы и часть мужчин. Когда Наполеон задержался на Поклонной горе, ожидая представителей первопрестольной град-столицы, к нему явилась депутация федосеевцев.

– Тогда-то я, барин, и свиделась с Наполеоном, – говорила Ефимия. – В то утро батюшка сказал, чтоб я нарядилась в батистовое платье. Матушка хворала и не могла пойти на встречу.

Батюшка мой, Аввакум Данилов, со старцами сготовил подарок Наполеону: быка красного; да еще золото несли на фарфоровом блюде. Мне-то было семь годов, а я все помню.

– Но зачем же быка? – удивился Лопарев.

– Старцы порешили так: бык красный – это будто сама Русь христианская. Вот и повели ее на поклон Наполеону.

Ефимия тихо усмехнулась:

– Утро стояло моросное, ненастное, а мы все шли в нарядах, с песнопениями. Впереди батюшка со старцами, а за ними – большущий красный бык – рога вилами. Того быка я гнала ракитовой веткой. Сама в батистовом платье, с красными лентами в волосах. Нарядная! Так и вижу себя в том платье. Брат мой, Елизар, толковал по-французски. Икону Преображения нес, чтобы передать самому императору.

Встретили нас офицеры. Брат Елизар толкует им: так вот и так, к императору идем, к Наполеону…

Небо прояснилось, и солнце показалось. Батюшка мой остановился и молитву сотворил: «Божье дело, говорит, коль само солнышко проглянуло!»

А какое тут «Божье дело», если мы к басурману на поклон шли?

Наполеон встретил нас возле пушек своих на Поклонной горе. И маршалы стояли рядом с ним. Наполеон спросил: «Что за депутация явилась из град Москвы?»

Брат Елизар ответил: «Мы – древние христиане, утесняемые царем и никонианской церковью. Пришли заявить вам, государь император, свою верноподданническую преданность и покорность».

Тут и пали все наши старцы на колени. И меня поставили на колени возле пушки. И страх такой: «А вдруг пальнет пушка и смерть будет?»

Наполеон разгневался, что мало людей пришло, и не от самого царя, не от Кутузова депутация. Слышу: «Кутузов, Кутузов!» А брат Елизар толкует, что Кутузова с нами нету, а вот красного быка привели, мол, возьмите.

Стоим мы на коленях перед пушками, а Наполеон совет держит со своими маршалами и офицерами: как быть? Гнать ли нас аль, может, перебить всех?

Потом опять призвали брата Елизара для разговора. Не ведаю, что за разговор был, только Наполеон смилостивился и принял золото на фарфоровом блюде, и быка того взял.

Вижу, как теперь. Наполеона-то. Как он подошел ко мне и в глаза заглянул. Ноги такие толстые у него, как две чурки, и туго обтянутые белыми штанами. Взял меня рукой за подбородок и глядит мне в глаза, что-то спрашивает.

Брат Елизар толкует:

«Привечай, сестрица, императора. Да поясной поклон отбей». А я стою, как деревянная. Чудно! Наполеон-то совсем не страшный. И ногами дрыгает, как юрдивый.

Похлопал меня по щеке, а рука у него духмяная.

Брат Елизар потом сказал, будто Наполеон хотел, чтоб я осталась при его свите, да батюшка через Елизара упросил не брать меня, как хворую. Хоть я и не была хворая.

В тот же день войско Наполеона в Москву вошло, а мы вернулись в свой монастырь. И беда пришла: матушка померла!

В монастырь к нам пришли французы. Машины привезли такие, чтоб делать русские деньги. Старцы устроили французам богатое угощенье, и батюшка опять повелел нарядить меня в батистовое платье, хоть в келье лежала матушка моя покойная.

– Где же вера-правда, барин? – вдруг спросила Ефимия, и слезы покатились у нее по щекам. – Зачем старцы шли к басурману Наполеону? Што искали? Зачем приняли французов в монастыре да угощенье им устроили? Кощунство одно, а не верованье!.. Потом я думала: нету веры-правды у федосеевцев, хоть родилась в ихнем монастыре и матушка там захоронена!.. Какая же это вера, коль сами старцы блуд Богом покрывают? Не раз слышала, как на

моленьях старцы наставляли: «Пусть белицы и бабы балуются и родят младенцев, а потом их убивают. Утопят аль удушат. Младенец будет мучеником и сразу попадет в Царствие Божие». Так и делали срамные белицы и бабы. Сколь младенцев утопили в Москве-реке!.. Где же та вера, страх Божий?!

Лопарев не знал того. Спросил, что же было потом с федосеевцами, когда Наполеона прогнали из Москвы.

– Горе было. Стон был, – ответила Ефимия. – Старцев, которые шли на поклон Наполеону, и брата мово Елизара Кутузовы солдаты схватили как изменщиков. Што с ними поделали – не ведаю. Батюшка мой со своими тремя братьями да с братьями Юсковыми в побег ударился, в Поморье, к древним христианам. И меня взял с собой. Долго мы ехали до Поморья. Рухлядь везли всякую и золото… Разбойники напали на нас, дядю Гаврилу убили…

В Поморье, на реке Лексе, встретили нас чуждо и хотели батогами бить, да батюшка с братьями Юсковыми откупились подарками. И золотом, и парчой, и бархатом. И меня отец отдал в ихний монастырь.

Тут и началась беда. Новая вера, новые строгости, а я того не ведаю. Что к чему? Понять не умею. Била меня игуменья да приговаривала: «Изыди, Сатано, из тела белаго, из сердца несмышленого, из крови ретивой!» А какая может быть кровь ретивая у девчонки по девятому году?

Потом игуменья проведала про мою матушку, што она из княгинь была, рода Дашковых. Возила меня в Москву, чтоб князья Дашковы выкуп богатый дали и меня взяли к себе. Да не вышло так. Князь Дашков глядеть не стал. «Не нашего рода-племени, – сказал, – коль на свет произошла от блудницы!» С тем и выгнал из дворца свово.

Помолчав, Ефимия пояснила:

– Это он мою матушку, дочь свою, блудницей величал. Она сама себя упрятала в монастырь к федосеевцам. Преступила волю родителя – позналась с купеческим сыном Аввакумом Даниловым, моим отцом, и ушла в монастырь к нему. Родитель наложил на нее тяжкое проклятье в церкви, с тем и померла матушка в монастыре. У меня и теперь есть ее иконка, которую она вынесла из родительского дома.

Так было, барин.

Игуменья разгневалась, что не выкупили меня Дашковы. Всю обратную дорогу помыкала, как черничку какую. И ноги мыть заставляла, и ночью не спать, пока она спит да нежится. Батюшка мой к той поре помер, я осталась одна на белом свете. Хоть так, хоть эдак, а все иголка без нитки.

Жила я в том монастыре до зрелого девичества. Не знала, какая великая беда грянет!..

От малой беды до большой далеко ли? Рукой подать!..

Так и случилось. Тяжко вспоминать…

Игуменья готовила меня в лекарши-монашки, да налетел черный ястреб – и не стало белицы! – загадочно проговорила Ефимия, к чему-то прислушиваясь.

X

Небо перемигивалось звездами. Тишина. Истома. И вдруг в этой тишине раздалось долгое и трудное: «А-а-а-а! Ма-а-а-туш-ка-а-а!»

Лопарев поднялся.

– Прячьтесь, барин! Прячьтесь! – прошептала Ефимия. – Это Акулину с младенцем из ямы вытаскивают. На суд поведут.

– На суд? Акулину?

– Тсс, барин! Погубите меня и себя. Спрячьтесь к телеге, Христом Богом прошу!

Лопарев попятился к телеге и сел. Что еще за Акулина из ямы? Из какой ямы?

Ефимия постояла немного, потом обошла вокруг и только тогда вернулась к Лопареву.

– Страх-то какой, Господи! Всю трясет, – проговорила она, зябко скрестив на груди руки. – Это ее когда из ямы вытаскивали, она успела крикнуть. Потом рот зажали, должно. Помоги ей, Господи, смерть принять легкую! – перекрестилась Ефимия.

Лопарев спросил, кто такая Акулина и за что ей будет смерть.

– Беда приключилась, барин. Младенец у Акулины народился шестипалый. На обеих руках по шесть пальцев.

Лопарев не понимал: при чем же тут Акулина?

– По верованию Филарета, шестипалый от нечистого, – пояснила Ефимия. – Акулина хотела сокрыть грех и долго не показывала младенца духовнику, чтоб окрестить. Потом надумала убежать, да поймали и к старцу привели. Тут и грех открылся. Сама-то она красивая, приглядная. Как вышли из Поморья, стала женой Юскова парня. И вот беда пришла.

– Какая же беда? – не унимался Лопарев. – Мало ли рождается на свет шестипалых.

– Ах, барин! Крепость-то наша какая?! Сказал старец: шестипалый от нечистого, и все уверовали в то. Жалко Акулину-то, да своих рук не подставишь, – горестно молвила Ефимия, глядя в сторону леса. – На свете не успела пожить, первого ребенка народила, и вот – смерть пришла. Еще вчера сготовили место. За лесом, на прогалине, одна береза растет. Вокруг березы наметали большую копну сена да хворостом обложили, чтоб сразу большой огонь занялся.

– Это же, это же… убийство!

Ефимия испуганно откачнулась:

– Не глаголь так! Исусе, спаси мя!

Лопарев не унимался. Ругал Филаретовский толк и самого Филарета:

– Сам говорил, что от барской крепости бежал! А в какой крепости людей держит!

– Боже мой, Боже мой! Пощадите, барин! Сынок у меня! – взмолилась Ефимия.

– Потому тиран и топчет ногами всех, что каждый думает только о себе, – кипел Лопарев.

– Не так, барин! Не так! От веры, а не от тиранства. Люди-то верят старцу Филарету, что он таинство откроет, спасет от погибели.

– Какое же это спасение? Где? В чем? За шестипалого ребенка на огонь мать ведут!

– Ой, Боже мой! Што я наделала? Зачем сказала?! – опомнилась Ефимия. – Знать, и мне гореть… Аль на тайный спрос поволокут.

Лопарев стиснул голову ладонями, примолк.

И опять в ночи раздался истошный вопль: «Ма-а-ату-у-ш-ка-а-а!..» И эхо покатилось по лесу, отдалось по реке и тихо замерло.

Лопарев поднялся, намереваясь пойти на тайное моленье общины, чтоб защитить Акулину с младенцем.

Ефимия решительно загородила ему дорогу.

– Али вам жизнь надоела, барин?

– Жизнь каторжника недорого ценится, Ефимия. Надо спасти Акулину с младенцем.

– Четырем гореть, значит, – скорбно промолвила Ефимия.

– Почему четырем?

– А как же, барин! Одно слово старца – и тебя скрутят и к той березе веревками привяжут. Спина спиной к Акулине с младенцем. Потом старец учинит мне спрос: не вела ли я греховных речений со щепотником с ветра? И я скажу: глаголала, отче. И шестипалый младенец, скажу, не от нечистого народился, а от уродства. И верованье наше лютое, не Божеское, скажу. Тогда старец подымет два перста в небо и завопит: «Еретичка промеж нас, братия!» И тут схватят меня и к той березе веревками притянут.

Ефимия воздела руки к небу:

– Гореть тогда! Четырем гореть!

У Лопарева опустились плечи и ноги будто чугунными стали, с места не сдвинуть. Одному гореть – одна беда. Но четырем!..

– Кабы видели, как жгли себя филипповцы, которые отошли от общины Филаретовой, – продолжала Ефимия. – В срубах сосновых, со младенцами, с белицами, мужики и бабы жгли себя огнем да еще песни пели радостные. И никто не остановил того огня! Никто не остановил смерть! В три ночи погорело более тысячи душ. Гарью обволокло все Поморье.

– О, тьма-тьмущая!..

– Тьма, тьма! – эхом отозвалась Ефимия.

– Такая крепость хуже тюрьмы.

– Хуже, Александра, хуже! – Ефимия тревожно оглянулась и прислушалась. – Прости мою душу грешную. И я так думаю: не от Бога крепость! Сомненья мучают, а исхода не вижу. Сколь верований знала, а все в душе пустошь. Про то никто не ведает. Один Бог да небо ясное. Кабы знал старец, какая смута на душей моей, давно бы не жить мне!

Далеко за Ишимом скрестились белые молнии, и громыхнула гроза глухо, ворчливо.

– Хоть бы дождь пошел да залил бы всю степь, чтоб судный огонь не занялся!

Судный огонь!..

И Лопарев будто въявь увидел перекладину с пятью веревками на плац-кронверке Петропавловской крепости. Никто не остановил казни в то прозрачное, погожее утро! Ни Небо, ни народ, ни царь!..

– Не убивайтесь так-то. Жить надо.

Жить? В такой вот крепости или где-то в Нерчинской каторге, а потом на вечном поселении? Да что же это за жизнь?! Во имя чего такая жизнь?

Ефимия толковала свое:

– Утре, когда старец заговорит с вами, прикиньтесь хворым да безголосым. Польза будет. Старец скажет мне, чтоб я лечила вас от хвори. Я одна лекарша на всю общину! И травы целебные знаю, и снадобья готовлю. Только бы не возвернулся скоро Мокей, муж мой постылый. Крепость моя горькая и тяжкая!

Лопарев отошел к телеге и сел, беспомощно сгорбившись…

Грозовая туча пологом нависла над Ишимом. Сверкали молнии, но дождя не было.

Лопарев вспомнил стихи Кондратия Рылеева:

И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали…

И вот в третий раз над лесом и темной степью пронесся нутряной вопль:

– Ма-а-а-туш-ка-а-а!.. Спа-а-а-си-те-е-е!.. Спа-а-а-си-те-е-е!..

Тревожно заржали лошади и залаяли собаки.

Ефимия отскочила к старой березе и там спряталась.

Лопарев сжался, скрючился в три погибели. Зубы у него мелко и противно постукивали.

Из края в край плескалось:

– Ма-а-а-туш-ка-а-а!.. Ба-а-тюш-ка-а-а… Спа-а-а-си-те-е-е!..

Судная ночь!..

Лопарев зажал уши ладонями и уполз под телегу.

Под утро он и без притворства захворал.

XI

…Неделю Акулина с шестипалым младенцем сидела в глубокой яме под строжайшей охраною старцев-пустынников, помощников Филарета.

Раз в сутки в яму подавали кружку воды и ломтик черного хлеба.

Старцы караулили: не явится ли в яму нечистый, чтоб повидать блудницу?

Нечистый так и не явился. Должно, убоялся праведников-старцев, посвятивших всю свою долгую жизнь Господу Богу и ни разу не осквернивших себя близостью с женщинами.

Акулина знала: ее ждет судное моленье…

День и ночь молилась святым угодникам…

Одному из старцев, Елисею, будто бы привиделось, как среди ночи к яме подполз дым. Откуда бы? Неведомо. Знать, дымом объявился нечистый дух да сиганул в яму к Акулине-блуднице. И она приняла его втайности, миловалась с ним, окаянная, а узрить тот грех нельзя было: нечистый напустил сон на старцев.

Вся община потом ахнула:

– Гореть, гореть блуднице!

Ларивон, сын Филарета, и кузнец Микула вытащили Акулину из ямы. Ноги у нее до того отекли, что она не могла стоять. Младенец пищал возле ее груди.

Ларивон подтолкнул Акулину:

– Намиловалась с нечистым в яме-то! Ноги не держат, срамница!

– Не было нечистого! Не было! И старцы караулили, – начала было Акулина, но Ларивон прицыкнул:

– Молчай! Гореть тебе ноне, ведьма!

И Акулина завопила…

Ларивон зажал ей рот и при помощи Микулы поволок на судное место.

Моленье продолжалось несколько часов. Мужчины стояли на коленях отдельно от женщин.

Безбородые юнцы и отроки перепугались насмерть, неистово крестясь.

Женщины, особенно старухи, одетые в старинные монашеские платья, какие носили до патриарха Никона, чинно молились, не оглядываясь друг на друга и по сторонам, чтоб нечистый молитву не попутал.

Более шестисот человек старых и малых сомкнулись тесным кольцом вокруг березы.

На самодельном алтаре горели восковые свечи, и старец Филарет читал Писание.

Потом Филаретовы апостолы-пустынники затянули псалмы.

Акулину с младенцем поставили на колени возле березы, и она, так же как и все, истово крестясь, молила Бога о спасении своей грешной души, хотя и сама не ведала, когда и в чем согрешила.

Закончив чтение псалмов, старец Филарет приступил к судному спросу:

– Кайся, грешница! Перед миром древних христиан, какие за веру на смерть идут, на каторгу идут, в Сибирь идут, кайся – как согрешила со нечистым? В какую ночь явился он к тебе в постель и тело взял твое, поганое, непотребное? Кайся!

Акулина воздела руки к алтарю:

– Не было того, отче! Христом Богом молюсь – не было! Помыслами чиста, как и душой своей. Михайла, скажи же! Скажи! – просила она мужа Михайлу Юскова, но тот молчал, со страхом глядя на молодую жену: ведьма ведь!

Тогда старец Филарет предупредил:

– Не покаешься во грехе, не будет тебе спасения на том свете! Геенна огненная поглотит тя, яко тварь ползучую!

– Не было нечистого, отче! Не было!

– Нечистый дух у тебя на руках, блудница! О шести пальцах, и рога потом вырастут, и хвост!

Община глухо проворчала: «Грех-то! Грех-то!» И одним духом:

– На огонь блудницу со нечистым духом!

– На огонь!

– В геенну огненну!

Старец Филарет поднял золотой осьмиконечный крест:

– От нечистых помыслов твоих, блудница, на свет народился шестипалый нечистый! Вяжите блудницу! Аминь.

И как ни вопила Акулина, Ларивон с кузнецом Микулой притянули ее веревками к березе.

Шестипалый младенец исходил визгом на руках матери, да никто того визга не слушал: нечистый вопит. Пусть вопит!

С Акулины сорвали платок и одежду. Теперь она предстала перед всеми голая – срамота-то какая! Длинную русую косу обкрутили вокруг березы.

– Ма-а-а-туш-ка-а-а!.. Ба-тюш-ка-а!

Ни матушка, ни батюшка не отозвались на вопль. Нет пощады тому, кто согрешил с нечистым и попрал праведную веру.

– Ма-а-а-туш-ка-а-а-а!..

Старец затянул длинный псалом «очищения духа от нечистой силы», и все подхватили пение, часто повторяя:

– Аллилуйя! Аллилуйя!

После слов старца: «Да сгинет нечистая сила!» – Акулина завопила во весь голос, обезумев от страха.

Многие попадали с колен – лишились сил.

Ларивон с Микулой поспешно обложили Акулину с младенцем сеном и хворостом.

Старец поджег сено от свечи.

Сухое сено и хворост моментально вспыхнули. Над темным лесом поднялся столб пламени.

– Ма-а-а-туш-ка-а-а-а!..

Перекрывая вопль Акулины, вся община гаркнула:

– Аллилуйя! Аллилуйя!..

Судное моленье свершилось.

Завязь вторая

I

Белая борода – не снег, а прожитое лихолетье.

Когда-то Филарет Боровиков был таким же молодым, как и беглый каторжник Александр Лопарев. То и разницы: Филарет возрос в барской неволе, а Лопарев – из барского сословия, жил в холе и довольстве.

Филарет перебивался с куска на кусок. Пять дней в неделю гнул хрип на барщине, а барин Лопарев не ведал нужды из-за куска хлеба насущного, ел, что душе нравилось. Службу нес царскую, в море плавал, тешился.

Когда стало невмоготу Филарету Боровикову везти упряжь помещика, он бежал в Оренбургские степи, нашел там пристанище у раскольников-скрытников, покуда судьба не свела с Емельяном Пугачевым, который назвал себя «осударем Петром Федоровичем». Помнит Филарет последние слова Пугачева:

– Сгину я, брат мой во Христе, да не отойду весь на тот свет. И может, Бог даст, из кровушки моей и моих братьев вырастут новые люди, и тогда порубят мечом и выжгут огнем всех царских слуг и насильников! И настанет на святой Руси вольная волюшка!..

Может, далеко еще до вольной волюшки, но вот поднялись же на царя-кровопивца сами дворяне-офицеры. Если бы они кинули народу призывное слово, не устоять бы царю. Рухнул бы трон, а вместе с ним крепостная неволя, и настала бы хорошая жизнь.

Как же поступить с беглым каторжником Лопаревым?

Можно ли приобщить холеного барина к верованью Филаретову? Не порушит ли он крепость?

«Белую кость как ни прислоняй к мужичьим мослам, а все не выйдет единой кости. Две будет: белая и черная».

Задумался старец Филарет. И так кидал неводом мысли и эдак.

Ночь минула тяжкая, судная. Блудница Акулина сгорела, не раскаявшись в грехе. Ладно ли?

«Экая крепость у нечистого, – думал старец. – И огнем не отторгли бабу от него. Как бы худа не было!»

На солнцевсходье старец учинил спрос невестке Ефимии:

– Слыхала вопль блудницы Акулины?

– Слыхала, батюшка.

– И барин слышал?

– Не ведаю, батюшка.

– Где же была? Доглядывала за барином аль нет?

– Барин захворал, должно. Я не посмела спросить. Да и самой страшно было.

Старец недоверчиво покосился на невестку: из веры давно вышла.

У Ефимии что ни погляд, то огонь. Истая искусительница! Глаз черный, скрытный, и душа в туман укутана. Разберись, что у нее прячется за словами и за черными глазами!

Как ни укрощал Ефимию Мокей, сын Филаретов, ничего не достиг. Схватит, бывало, Мокей Ефимию за черную косу, пригнет к земле и лупит, как сидорову козу. Ефимия хоть бы раз покорилась. «Убей, ирод, а все равно горлица ястребу не пара».

Горлица ли? Еретичка!

Приметил Филарет: после отъезда Мокея ходоком на Енисей Ефимия будто совращать стала несмышленыша Семена Юскова – безбородого парня. Пустынник Елисей пожаловался: парень испортился, радеет перед образами не от души. Ефимия ходила с ним по степи собирать травы целебные, а может, искушала?

«Ох-хо-хо! Ведьма, ведьма! – кряхтел старец. – Прогнать бы из общины аль на судное моленье выставить».

Но как же быть с барином? Хоть в оковах заявился, а все не мужик, не праведник.

Старец долго стоял возле телеги, под которой скрывался Лопарев, потом позвал:

– Человече! Бог послал утро!

Лопарев выполз из-под телеги, поздоровался со старцем, а сам руки прячет в рукава. Бледный, и глаза впали.

– Али хворь привязалась?

Лопарев пожаловался: и в жар кидает, и в озноб. И голова болит – глаз не поднять, и всего ломит, и в горле сухо – туес воды выпил за ночь, и все мало.

– Бог милостив, – ответил старец. – Лекарша у нас есть. Хоть баба, а толк в знахарстве имеет. Бог даст, подымет на ноги. Аминь.

II

Ефимия только того и ждала: позволения лечить барина, встречаться с ним, изливать душу. Но чтобы старец не заподозрил в дурных помыслах, Ефимия сперва отказалась лечить щепотника: грех ведь, не из нашей веры.

Деверь Ларивон поддержал сноху:

– Праведное слово говорит благостная, – прогудел он себе в рыжую бородищу. – Блудницу огнем сожгли, а щепотника выхаживаем, паки зверя лютого. Отчего так?

Старец стукнул батогом-посохом:

– Молчай, срамное брюхо! Хаживал ли ты, праведник, в чепи закованным по рукам и ногам? Шел ли ты на царя с ружьем? Сиживал ли в каменной крепости? Барин тот попрал барство да дворянство, чтоб свергнуть сатанинский престол со барщиной и крепостной неволей. Слыхивал ли экое? На зуб клал али мимо бороды прошло? Может, тот барин примет нашу веру древних христиан и, как Аввакум-великомученик, пойдет с нами к Беловодьюшку сибирскому. Тогда, Бог даст, отдам ему посох и крест золотой…

Содрогнулась община от подобных намерений духовника, почитаемого не менее самого Исуса Христа.

Пустынники-верижники толковали и так и сяк. Особенно старался в том пустынник-апостол Елисей.

– Грядет, грядет великая напасть! – вещал Елисей по землянкам, хаживая к верижникам. – Сам духовник в отступ пошел от древней веры – погибель будет. Сам зрил того нечистого, упрятанного под Мокеевой телегой. Курицу жрал, и масло по бороде текло. Откель масло? Еретичка Ефимия оскоромилась!

И – пошло, понеслось среди верижников:

– Не зрить нам Беловодьюшка!

– Нечистый барин, чай, в церковь поповскую поведет, кукишем креститься заставит.

– Ой, худо! Ой, худо!..

Дошел вопль и до старца Филарета. Созвал он на тайное моленье в свою избу избранных Богом и самими верижниками верных апостолов и в том числе неистового кривоносого Елисея с гирею на ноге.

Зажгли двенадцать свечей у древних икон, помолились по уставу, расселись вокруг стола духовника, а потом начали разговор.

– Сказывайте волю Исуса, – потребовал старец. – Глаголь, святой Елисей!..

Елисей вышел на середину избы, опустился на колени и, воздев руки к иконам, возопил:

– Сатано округ рыщет – погибели нашей ищет, святейший наш батюшка Филарет! От барина того погибель будет.

– Такоже. Такоже. – Филарет помолился. – Глаголь далее.

– Слыхивали: посох духовника обещан щепотнику? – намекнул Елисей и замер, ожидая слова духовника.

Духовник ничего не ответил. Обратился к апостолу Тимофею:

– Сказывай, преблагостный Тимофей. Кто рек при щепотнике Филаретово имя? На чью ладонь положили тайну святого Церковного собора? Чьему имени при щепотнике хвалу воздали? Сказывайте!

– Елисей, батюшка Филарет! Он рек имя! Он! – ответил длиннющий апостол Тимофей.

– Бес попутал. Каюсь, батюшка!.. – бухнулся лбом о земляной пол апостол Елисей.

– Тайна на чужой ладони – чья тайна? Сказывайте!

– Июдина, батюшка Филарет.

– Как быть таперича? Гнать ли щепотника со тайною во поле, в сатанинский мир, али у себя оставить да под надзором покель держать?

Порешили: держать пока под надзором, тем более барин тяжко захворал и, Бог даст… сам преставится на суд Всевышнего. Ну а если выживет…

– Не вводи нас во искушение, Господи! – помолился батюшка Филарет со своими апостолами. – Бог послал искушение – Бог даст прозрение. А тебе, святейший апостол Елисей,

сказываю: многими скорбьми подобает войти во Царство Небесное! Если Господь призовет меня – тебе носить посох духовника. Аминь.

Апостол Елисей от такого обещания лишился речи и до того обессилел, что еле выволок ноги из моленной судной избы старца.

Каждый из апостолов невольно подумал: «Настал час для Елисея. Теперь ему надо торопиться аминь отдать. Господи, помилуй раба Божьего!..»

Сам раб Божий едва дополз до своей землянки: хворь будто пристала к старым костям.

Духовник меж тем долго еще после тайного моленья со своими апостолами отбивал земные поклоны.

«Смута, смута зреет в общине нашей, Господи! – стонал Филарет, воззрившись на иконы. – От Юсковского становища смута идет; от ехидны Ефимии смрадом тянет! Повергнут июды веру древних христиан и расползутся все по сатанинскому миру, яко поганые крысы по земле. Как едную крепость держать, Господи? Огнем ли жечь еретиков али в реке живьем топить? Еретичку сожгли – во грехе не покаялась. Апостола Митрофана на огонь волокли – глаголал святотатство! Как жить, Господи? Силы нету. Разуменья нету. Праведники во червей обратятся, спаси, Исусе!.. Дай мне силу и просветления Господнего!..»

Ответа не было. Мерцали восковые свечи; тянуло запахом горящего ладана. Старец тяжело поднялся и вышел из моленной избы. Сказал сыну Ларивону, чтоб позвал Ефимию.

– Пусть Марфа во сто глаз зрит за ней да чтоб к Веденейке на дух не пускала. Глядите! – погрозил посохом Ларивону и вышел на берег Ишима, где и дождался невестки, давно подозреваемой в тайном еретичестве и в сговоре со становищем Юсковых.

Ефимия подошла и глаза в землю: не ей говорить первое слово. Старец долго молчал, глядел на другой берег Ишима. Вскинул глаза на невестку. Ух, до чего же чернущие глаза у искусительницы! Дна не увидишь, сокровенной тайны на крючок слова не выудишь; хитрость на хитрость метать надо.

– Што барин? – спросил. – Полегчало?

– Худо барину, батюшка, – скорбно ответила Ефимия, глядя себе под ноги. – Огнем-пламенем пышет; реченье бредовое. Взваром травы пою, а более ничего в рот не берет.

Филарет подумал.

– Реченье, глаголешь? Слова слышала?

– Слышала, батюшка. Про восстанье говорит, про расправу царскую. Кровавым венценосцем царя называет.

– Глаголь правду! – насторожился старец. – Что узрилась в землю? Не в ногах правда, на небеси.

Ефимия вскинула глаза на старца – черные-черные и ясные, без единой тучки.

Старец сдался:

– Оно так: царь – кровавый венценосец. Праведное слово барин глаголет. Вразумит Господь – с нами будет. Нашу веру примет. Али не примет?

– Не ведаю, батюшка.

– И то! – хмыкнул старец. – Какая болесть у барина? Не ведаешь?

– По всем приметам тиф или черная холера. При тифе в такой жар кидает болящего…

– Осподи помилуй! – испугался старик и будто ростом стал ниже. – Ежли хворь на общину перекинется – сколь людей сгинет!

– Я сказала Ларивону…

– Ларивону!.. Мне ведать надо, не Ларивону. Господи помилуй, беда грядет! Беда! – Минуту помолчав, собравшись с думами, наказал: – Покель барин хворый – с ним будь неотступно.

– Со щепотником-то! Помилосердствуйте, батюшка!

– Молчай, когда я глагол держу! Не со щепотником, а с болящим без памяти. Неотступно будь с ним. Во общину не хаживай – хворь по праведникам не носи, слышь? Батогами бить буду. И к Марфе глаз не кажи, и к моленной близко не подходи. Ежли барин подымется – моленье будет; грех сымем с тебя, и ты очистишься. Еду какую надо – Юсковы подносить будут в твою избу.

У Ефимии будто потемнели глаза.

– Али жалкуешь Юсково становище?

– У меня есть свое становище, батюшка.

– Такоже. Да в глазах у те узрил сейчас два становища, а понять не могу, которое тебе дороже.

– Всех людей жалею, батюшка…

– Ладно! Сполняй мою волю, – отпустил старец невестку и сам подался проведать многочисленных пустынников-верижников с ружьями, без которых немыслимо было бы удержать подобную крепость, какую учредили когда-то давно в доброславном Поморье на реках Лексе и Выге.

III

Щепотник Лопарев седьмые сутки не подымался, то огнем горел и беспрестанно просил воды, то закрывался с головою овчинным тулупом, чтоб согреть зябнущее тело.

Ефимия призвала на помощь все свое знахарство, какое познала белицею в Лексинском монастыре. И настоем трилистника поила, и взваром болотной полыни потчевала, и резун-травою, и корнями вилорога, и горячими бутылками обкладывала бариново тело, чтоб из костей ушла остуда. А более всего лечила собственным сердцем, неистраченной любовью, обрызганной с девичества горем горьким да вязким.

Ефимия перехитрила-таки дотошливого и никому не верящего старца: не черная холера, не тиф у барина, а просто лихорадка. После голодного и безводного плутания под солнцем по степи, да еще судную ночь слушал, – из памяти камень вышибет, не то что человека.

Знала: и от лихорадки умереть можно, потому и помогала целебными травами, и верила: одолеет худую немочь, подымет мученика на ноги…

Вокруг стана, сооруженного Ларивоном под телегою, – ни единой души ни днем ни ночью. До того перепугал всех духовник. Ефимии то и надо – побыть хоть неделю-две с человеком, не ведавшим тягчайшей крепости духа…

Настала восьмая ночь. Пасмурь навалилась на приишимскую степь; тучи сплывались на обнимку, и ветер пошумливал шапкою старой березы.

Ефимия долго сидела возле березы у потухшего костра с прокоптелыми котелками. Вечером она потчевала болящего и рада была, что съел кусок пшеничного хлеба из просеянной муки и выпил полкринки молока: для болящего пост – не закон.

«Ноне он в памяти, – подумала Ефимия, зябко кутаясь в теплую шаль с кистями, вывезенную дядей Третьяком из Голландии. – Как спать-то мне рядом с ним под телегой? Али сказать старцу, что болесть уходит?»

Нет, не скажет старцу. Пусть хоть три дня таких же, без крепости духа…

Вынула маленькую иконку из-за пазухи, опустилась на колени тут же возле березы и, глядя на восток, помолилась.

«Спаси меня, Богородица Пречистая, – шептала собственную молитву. – Не греховная плоть мучает мя, а сердце тепла ищет; человека ищет; свободы духа ищет. Ведала ли ты, Матерь Божья, как тяжко жить на белом свете без свободы духа? Знала ли ты оковы без железа, которыми выжившие из ума старцы пеленают души людские? Помоги, Матерь Божья, скинуть те

оковы, от которых дух каменеет и руки на дело не подымаются! Молю тебя, Господи! Услышь мой вопль и слезы мои высуши в глазах моих. Аминь!»

Такая молитва словно вдохнула в сердце Ефимии решимость и бесстрашие. Спокойно спрятала иконку за пазуху и, оглянувшись, прислушалась. Тихо… Слышно фырканье лошадей, сопенье коров в пригоне, да изредка собака взлает.

Тихо…

Облака в обнимку сплываются, а слез-дождя не выжмут, сухие, значит. К погодью.

Опустилась на колени и полезла под телегу, где можно троим спать. Шурша луговым сеном, подползла к болящему, прислушалась к дыханию: неровное, нездоровое. На ощупь дотронулась головы и тогда уже ладонь приложила ко лбу: жар.

Лопарев застонал, переворачиваясь на спину и сбрасывая с себя тулуп.

– Горит, горит… – бормотал он. – Кругом все горит. Ядвига! Имение горит… Воеводство горит…

– Опять Ядвига! – вздохнула Ефимия.

– Вся Россия гореть будет. Будет. Будет. Слышишь, Ядвига?

– Слышу, – ответила Ефимия, приваливаясь на локоть возле него.

Лопарев будто услышал подлинный голос Ядвиги и быстро переспросил:

– Ты слышишь? Да? Слышишь?

– Слышу.

– Ядвига?

– Я здесь…

– О господи! – облегченно и радостно заговорил он. Ефимия не успела отпрянуть, как он схватил ее за руки. – Ядвига? Твои руки! Твои! О господи! Надо бежать, бежать…

– Лежи, лежи, Александра! Нельзя бежать: жандармы кругом.

– Жандармы?

– Кругом, кругом жандармы, – заторопилась Ефимия, удерживая Лопарева за плечи. – Схватят и в цепи закуют. Душу в цепи закуют, и тогда погибнем.

– Душу?.. – соображал он.

– Самое страшное – душу. Руки и ноги давно закованы, Александра. Цепи на руках и ногах легко носить – ох, как тяжело носить цепи на душе!..

– Понимаю. Понимаю… О господи! Как душно… Где мы, Ядвига?

Ефимия не сразу нашлась что ответить.

– Где мы? Где? – требовал Лопарев.

– Мы далеко-далеко, в девятом царстве, – проговорила она, а у самой сердце слезами умылось: как быть, если барин пришел в сознание?

– Не понимаю. Ничего не понимаю. Такая боль в голове!.. О господи! Мама!.. Что стало с мамой?.. Я ничего не знаю, ничего не знаю. Она мне сказала: «Бесы закружили, видно». Нет, не закружили, мама! Не вышло восстание: плечо к плечу не держали. Будет другое время – не устоять престолу. Иначе жить нельзя. Нельзя, нельзя!

– Нельзя, Александра, – подтвердила Ефимия.

– Ты меня звала Сашей, Ядвига. Зови Сашей… Как ты меня нашла?

– Нашла, нашла, – отозвалась со вздохом Ефимия. – Ложись. Нельзя говорить громко… Саша. Нельзя.

Он нашел ее руки и порывисто притянул к себе. Ефимию в жар бросило, когда барин стал целовать их, бормоча что-то, а потом сказал стихами:

Вчера был день разлуки шумной.
Вчера был Вакха буйный пир,
При кликах юности безумной,

При громе чаш, при звуке лир…

Ефимия со слезами слушала его голос и не знала, что же ей делать.

– Клянусь девятью мужами славы, мы еще доживем до славных дней России. Доживем, Ядвига!

– Дай Бог! – тихо промолвила Ефимия.

– Бог? Нет, нет, Ядвига! Ни католический, ни православный не помогут нам. Не помогут. Свободу надо брать своими руками. Да, своими!

Ефимия промолчала.

– Голова… голова… О господи!.. – опять застонал Лопарев и опустился на сенное ложе, притих.

Ефимия подождала, пока он уснул, и, не в силах удержать горечь, подступившую к горлу, выбралась на ветер. Хоронясь возле березы, долго-долго плакала. Это была ее последняя ночь «без крепости духа»…

На другой день Ефимия сказала Ларивону, что барину полегчало и он в полной памяти, а потому быть с ним нельзя правоверке. Старец Филарет вскоре позвал ее в Ларивонову избу, выслушал и тогда разрешил наведываться к барину только днем, с приношением пищи.

На десятый день Лопарев покинул свое убежище, грелся на солнышке и слушал быль старца про поморских праведников.

– Кабы Анчихрист не плутал по царствам-государствам, давно бы люд праведный жил во счастье, со Господом Богом, – гудел старец. – Вот мы спасаемся от греховности едной общиной. А кругом как? Соблазн. Искушения. Погань всякая.

Лопарев не сдержался, заметил:

– Спасение для людей – свобода. Без свободы нет жизни человеку, а есть каторга, в цепях или без цепей – какая разница!

– Свобода с блудом бывает, – возразил Филарет. – Дай свободу слабым да не твердым – и в блуде погрязнут, со червями земляными заодно будут.

– Без свободы человек окаменеет, думаю. Нищий духом станет.

Старец поднялся и ушел восвояси…

Ефимия радовалась. Она так и светилась вся, глядя на Лопарева. Это она спасла его от смерти!

И Лопарев сказал:

– Если бы не ты, не жить бы мне.

На что Ефимия тихо ответила:

– Тогда и мне, может, не жить бы, – и тут же ушла – стройная, еще совсем молодая женщина, такая же загадочная и неопределенная, как завтрашний день.

Минуло еще четыре дня, и старец сообщил, что позовет на совет крепчайших пустынников и тогда решат, как поступить с барином: оставить ли в общине, как пришлого, иль прогнать, как щепотника.

«Если прогонят, куда идти? – думал Лопарев. – В городе опознают, схватят, закуют и отправят на каторгу. А в деревню пойти – примут ли? Не лучше ли остаться в общине Филарета? Хоть тьма-тьмущая, но люди надежные, кремневые…

Русь! Какая же ты дремучая и непроглядная! А я-то знал Россию петербургскую, невскую, с выходом в Балтийское море, в Европу просвещенную.

И все-таки надо ждать, как сказала Ефимия. Кто знает, может, настанут перемены?»

IV

Августовская ночь прояснилась звездами. Играла, нежила. С берегов Ишима тянуло теплой испариной.

Лопарев лежал возле телеги, думал.

Послышался шорох, будто кто полз. Лопарев оглянулся и встретился с черными глазами – Ефимия!

– Тсс! – Ефимия погрозила пальцем: молчи, мол, – явилась тайно от старца. Подползла к телеге и протянула Лопареву бутылку. – Вино возьми.

– Вино?

Угольные глаза приблизились и заискрились, как две падучие звездочки.

– Што глядишь так, Александра? – И голос тихий, мягкий, как безветренная августовская ночь, и такой же таинственный, обещающий.

– Разве у вас пьют вино? – Лопарев взял бутылку из черного стекла, нагретую руками Ефимии.

Пухлые губы усмехнулись.

– Наше вино – не зелье. На ягодах и меде настоянное. Такое вино все пьют, силу набирают. Зелье сатанинское, аль чай китайский, аль табак бусурманский – того на дух не принимаем. – И, лукаво щурясь, Ефимия пояснила: – Кто пьет чай – спасения не чай; кто табак курит – тот Бога из себя турит; а кто зелье пьет – тот с Сатаной беседу ведет. Аль не так?

– Не думал про то, – ответил Лопарев. – Я и чай пил, и трубку курил, и вино пил крымское и заморское. И водку пил.

– Ой, ой, Александра! – пожурила Ефимия, но беззлобно. – А про спасение души думал?

– Думал, когда сидел в Секретном Доме. Вот, думаю, сгноит меня царь-батюшка в камнях, и куда душа моя денется, коль из каменного мешка и щели нет на волю?

– Грешно так глаголать, – построжела Ефимия. – Потому душа – не тело. Затворы да стены не удержат.

– Куда же она денется, коли и щели на волю нет? Пробьет камни?

– И камни и землю пробьет, если душа живая.

– Может быть. Не думал про то, – уклонился Лопарев.

– А думай, думай, Александра Михайлович! Нонешнюю ночь судьба твоя решается. Жить тебе с общиной аль гнатым быть. Куда уйдешь, скажи? В оковы? Али ждешь милости от царя-сатаны?

Нет, Лопарев не ждет от царя милости. Он его знает. Говорил с ним с глазу на глаз…

– И духовник так сказал пустынникам: барину от царя милости не будет, а потому спасти надо. Да вот пустынники…

– Что пустынники?

– Лютая крепость у них. Ой, лютая! Жен не ведают, потому, говорят, как Ева совратила Адама и со змеем-Сатаной позналась, значит, и все жены Сатану в себе носят. Они бы всех женщин огнем сожгли.

– Ну а матерей своих тоже пожгли бы?

– Дай волю – пожгли бы. Лютые, лютые старцы! В общине проживают, как истые праведники. Есть которые с веригами и во власяницах.

– Это еще что такое?

– Вериги? Тяжесть на теле. Которые таскают ружья и спят с ружьями или железо с шипами, чтоб тело кололо. А один раб Божий пудовые чурки повешал на себя и таскает их, мучает плоть, чтоб искусу не поддаться. Власяницы вяжут из конского волоса. Рубаха такая. Надевают на голое тело. Один тут старец есть, Елисей, самый злющий; он двадцать лет носит

власяницу и ни разу, говорят, не сымал. Тело у него все в струпьях и рубцах. А на правую ногу чугунную гирю привязал, чтоб Сатана не утащил к соблазну, когда глаза спят.

– Разве у него только глаза спят?

– Глаголет так. Телу во власянице не уснуть. Я спытала. Ой, не дай Бог повтора!..

– Зачем же тогда надела?

Ефимия оглянулась, взяла Лопарева за руку:

– А ты сам себя заковал в кандалы?

– Со мною разговор был малый: каторжник…

– И то! А меня возвели в еретички. Потом скажу, Александра, только не уходи из общины. Гнать будут – не уходи. Скажи, что примешь веру Филаретову. И я помогу тебе. Пустынники-апостолы, слышь, собрались у старца на тайную вечерю и в один голос трубят, чтоб прогнать тебя, яко нечестивца. Боятся, как бы старец не отдал потом тебе пастырский посох и крест золотой.

– К чему мне посох и крест? – удивился Лопарев.

– Ой, ой! Сила в них великая, Александра. Тогда бы ты стал духовником общины, как теперь Филарет. И тьма-тьмущая сгила бы в тартарары.

Черные глаза смотрели в упор, настойчиво, призывно, трепетно.

Лопарев смутился и опустил голову: не выдержал натиска.

– Красивый ты, Александра Михайлович, – чуть в нос промолвила Ефимия и опять взяла за руку. – Когда ты в беспамятстве лежал под телегой в лихорадке, я, грешница, трижды побывала у тебя в гостях.

– У меня?! – Лопарев почувствовал, как пламя кинулось ему в лицо.

– Тсс! Где же еще? Рядом с тобой побывала и тулупом тебя кутала, а ты все зяб и звал Кондратия. Дружок твой аль брат?

– Брат по восстанию.

– В каторгу пошел?

– Повешен.

– Помилуй его душу, Господи, и отверзни пред ним врата Господни! – помолилась Ефимия, и звезды ее глаз будто потухли.

Помолчав, спросила:

– Еще глаголал про кобылицу с жеребенком, какие с тобой по степи шли. Может, привиделась кобылица-то?

Нет, Лопарев уверен, что кобылица с жеребенком шла и потом орел налетел.

– Знать, знамение Господне! Чтоб не сгил в степи и звери не рвали твое тело, Господь послал кобылицу с жеребенком. Знамение, знамение!

Лопарев не верил, конечно, что Бог послал ему знамение, но не стал разубеждать Ефимию. К чему?

– Раз ночью, – продолжала Ефимия, – когда я крадучись пролезла к тебе, ты в беспамятстве звал мать. И я молила здравия твоей матушке.

Лопарев хотел поблагодарить, но от волнения ничего не мог сказать.

– А вот тут, где сейчас сидишь, на седьму ночь, помню, подошла проведать тебя, а ты… горько так плачешь. Слышу: «Ядвига! Ядвига!» И про Варшаву-город, и про какого-то Никиту. Не ведаю. – И тихо спросила: – Ядвига – жена твоя?

Лопарев поежился:

– Невеста была. Да поругались с ней, еще до восстания.

– Из-за чего поругались? – допытывалась Ефимия.

Лопарев усмехнулся:

– Веру отказалась менять.

– Веру?! Какая же у ней вера?

– Католическая. Римская.

– Ой, ой! Бесовская. Тричасному кресту молятся и Деве Марии, а ведь Христос – Спаситель и Бог наш. Ладно, што поругался с ней, беда была бы. Ой, беда! От христианства уйти, как на огне сгореть. Забудь ее, Ядвигу-то. Из сердца, из души выкинь, чтоб и во сне не являлась. Я еще подумала…

Послышался старческий кашель Филарета. Ефимию как ветром сдуло…

V

Мелководная река воркует, журчит, будто сказку бормочет…

Бурная – камни перекатывает, с ног сшибает. Не река – кипень студеная.

Кипенью начал свою жизнь род Боровиковых…

Сам Филарет в молодые годы баловался силушкой, сноровкой, смелостью и удалью. Емельян Пугачев наградил Филарета кривой турецкой шашкой и четырехфунтовым золотым крестом, снятым с какого-то важного Божьего пастыря.

Осеняя себя двоеперстием, Филарет кидался в самую гущу битвы и рубил, рубил антихристов во имя вольной волюшки!

Не раз Емельян говорил Филарету:

– Помолимся, брат, чтобы укрепить дух и побить ворогов-супостатов, опеленавших Русь железом. Народ в ярме, а бары в золоте да в холе. Нашей кровушкой питаются, а мы слезами исходим.

И они молились. Плечом к плечу. А потом брались за пищали, шашки, за деревянные рогатины с железными наконечниками и бились с царским войском до последнего вздоха.

Не одолели крепость царскую и боярскую – силы не хватило…

Емельяна упрятали в железную клетку и повезли на казнь; Филарету удалось бежать в Поморье, где он впоследствии утвердил свою крепость веры.

С Поморья общиною бежали в Сибирь…

И вот встреча с беглым каторжником, барином…

«Чем же не потрафил царь-батюшка барину? Чего не поделили? Холопов аль добычи и власти?» – думал Филарет.

Он подошел к пепелищу – в белых холщовых штанах и в продегтяренных поморских мокроступах на босу ногу, опираясь на высокий посох с золотым набалдашником.

Огляделся.

Золотой крест тускло поблескивал.

Лопарев впервые увидел старца-духовника такого вот торжественного, важного, как сама вечность.

Минуты три старец к чему-то приглядывался, принюхивался, поводя головою.

«Спугнул, должно, ведьму Ефимию, – подумал старец, видя, как барин испуганно сгорбился возле колеса телеги. – Ох, искусительница! Как змея, явится и, как змея, уползет – следа не сыщешь».

Тяжко вздохнул. Грех, грех!

Поверх белой из тонкого холста длиннополой рубахи опоясан широким кожаным поясом со множеством кармашков, где старец хранил часть золотой казны общины.

Дорога дальняя, и золота у общины немало, а живут своими харчами. И на Волге урожай вырастили, и вот на Ишиме соберут урожай, а золото тратят в крайнем случае.

Шурша крылами, на старца налетела летучая мышь и прицепилась к белой рубахе.

– Изыди, тварь!

Постоял возле пепелища, прислушался к чему-то.

– Не спишь, Александра?

– Не сплю, отец.

– Ишь, бормочет Ишим, а ветру нет.

Подошел ближе, поглядел на Лопарева, вздохнул:

– Пустынники порешили, Александра, прогнать тебя из общины, чтоб не порушилась крепость старой веры. Жалкую вот, куда пойдешь. В чепи али в землю?

Лопарев не знал, что ответить.

– Такоже было со мной, когда бежал я от висельников. Войско наше побили, в чепи заковали. А я ушел, Господи помилуй. И познал лютость людскую. О трех деревнях гнатым был, да не изловлен. Голодом маялся и холодом, покуда пустынник не спас мя.

Стукнул посохом, вознегодовал:

– Спасен был! А тя вот гоню на погибель. Ладно ли? В оковы гоню, к еретикам, собакам нечистым! Ох-хо-хо!

Лопарев ничего не ответил: Ефимия научила не говорить лишнего, а больше слушать старца.

– Молчишь? И то! Судишь, должно, старца Филарета.

– За что судить, отец? Поступайте по вашей вере.

– Пустынники наседают на меня! Пустынники! Погоди ужо, Александра. Хвалу Богу воздав, аз же и благодать будет. Где та благодать, спросишь. Погоди ужо. Скажу.

Филарет опустился на лагун с водой, хрустнув хрящами.

– Пустынники глаголют: вера твоя еретичная, а сам ты из барского сословия, чуждый общине. Тако ли есть? Какое твое барство?

– Теперь я каторжанин.

– Ведомо, ведомо! Сам кинул чепи в Ишим-реку. И ты закинь свое барство да дворянство на дно реки текучей, и Бог примет тя, и благодать будет. Скажу про общину. Не ведаем мы оков, не знаем сатанинских печатей и списков, какие хотели завести на нас на Волге и в Перми-городе. Мучили нас стражники, да урядники, да попы бесноватые, чтоб мы отрешились от старой веры. Тогда сказали мы: в срубах огнем себя пожгем, а веры щепотной не примем и царю молитву не воздадим. Сказано бо: и паки пойте в печь идущие!

Старец торжественно перекрестился.

– Ведаешь ли ты, Александра, какой грех творят поганые попы?

Лопарев того не знает.

– Я морскому делу обучался, отец.

– Потому и глаголю с тобой, что ты, под Богом ходючи, Бога не ведал, зело не искушен.

– Не искушен, – признался Лопарев.

– В Писании сказано: падут грады, вознегодует на них вода морская, реки же потекут жесточае. И то! Грады от Бога отступились, погрязли в блуде да еретичестве, оттого и погибель будет! Спасутся истинно верующие. Вот и блюдем мы старую веру. И сказано: своего врага возлюби, а не Божьего, сиречь еретика и наветника. С еретиком мир какой, Александра? Ехидна и погибель! Еретика не исправишь, а себе язвы в душу примешь. Еретиков жечь надо!..

Лопарев слушал, присматривался к старцу. Такого Филарета он еще не знал. Неистового, убежденного, непреклонного и уверенного в своей истинной вере-правде.

– Примешь ли ты, Александра, крепость старой веры?

Лопарев содрогнулся. Ему было почудилось, что в ночи опять раздался вопль Акулины…

– Не срыгнешь ли? – спрашивал старец. – Али, может, к царю да к барам-крепостникам на поклон поволокешь нас, праведников?

– Не будет того, отец, – ответил Лопарев. – С вами хоть на край света пойду, если не изловят жандармы.

– Община укроет. По нашей вере так: хочешь помилованному быти – сам такоже милуй; хочешь почтен быти – почитай другова. Богатому поклонись в пояс, а нищему – в землю. Алчу-

щего – накорми, жаждущего – напои, нагого – одень. Бо се есть Божья любовь, Александра! Блудницу – батогом гони, лупи, бо се есть бесовская любовь. Хвально так-то жить! Хвально!

Передохнув, старец спросил:

– Читал ли ты, Александра, Писание по старым книгам?

– Не читал, отец.

– Читать будешь, познаешь веру. Научу тя моленьям нашим, погоди. Да вот пустынники глаголют, будто глазами зрили, как тебя Сатано подвел к становищу. Скажи, как дошел до нас?

Лопарев вспомнил, как Ефимия сказала ему про знамение…

– Если бы Бог не послал знамение, не дошел бы до вас, отец.

– Знамение?! – Старец вздрогнул от такого слова. – Сказывай, сказывай, человече!..

– Три ночи и три дня кружился я по степи, отец. Иду, иду, а выхожу на то же место. Думал, погибну так. Тут услышал я голос: «Мичман Лопарев!» Глянул вокруг – никого нету. А потом вижу – кобылица подошла ко мне с жеребенком, хромая на переднюю ногу. Откуда взялась? Не знаю. Хотел изловить ее – не далась. Побежала степью, и я за ней. Так и пошли мы. И тогда воспрял духом: не один, значит, в пустыне. А ночью увидел зарево огня. Так было, отец. Где та кобылица с жеребенком, не знаю.

Старец поднялся и воздел руки к небу:

– Прости мя, Господи, чадо неразумное, в седых власах пребывающее! Как я того не уразумел, Господи! Знамение было, знамение!..

И упал на колени.

– Прости мя, раб Божий, за слепоту мою, коль не уразумел того.

Лопарев не знал, что делать. Старец молится на него и просит прощения.

– Отец, отец, что вы так, – бормотал Лопарев. – Может, то не знамение было, а показалось мне…

Старец замахал руками:

– Молчай, молчай! Не кощунствуй! Знамение было – радость правоверцам! Аллилуйю воспоем, аллилуйю!.. Кобылица та, хромая, с перебитой ногой, к табуну нашему прибилась, и жеребенок с ней, слышь. Молосный, гнеденький, и спина поранена у того жеребенка. Вот оно диво дивное, Господи! Бог вразумил мя сказать мужикам, чтоб кобылицу не убивали. Жива, жива!

– Я на нее могу посмотреть?

– Погоди ужо. Погоди, Александра. Диво дивное свершилось, а тут старцы-пустынники, какие под именем Христа Спасителя ходят, ересь на меня пустили, собакины дети! Ишь что удумали! Гнать тя батогами, грязью, яко еретика-щепотника! Верижников подбили на то, слышь. Ах, паскудники, псы вонючие! Погоди ужо, я того апостола Елисея крестом огненным заставлю молиться, и аллилуйю воспоем ужо!

Лопарев догадался: какому-то «апостолу» Елисею – гореть на кресте…

– Пустынники ведь не знали про знамение.

– Молчай, молчай, Александра! Не вводи во искушение, бо сам под Божьим знамением живешь, яко младенец у титьки матери! Погоди ужо. Дай подумать.

И старец Филарет погрузился в думу.

Лопареву стало жутковато: что-то надумает Филарет. Если бы знал, как обернется совет Ефимии, никогда бы не сказал. Чего доброго, человека сожгут да еще и аллилуйю петь заставят!

– Возлюбил тя, Александра, – начал старец, – яко сына родного Мокея, какой на Енисей-реку ушел со товарищами. Плоть к плоти приму тя в общину, потому – благодать Божью принес ты всем нам. Слава Господу! Апостолы порешили гнать тебя батогами да навозом, и грязью, слышь! Погоди ужо! Познают батоги!

Перекрестился, спросил:

– Окреп ли телом, Александра?

– Окреп, отец.

– Можешь ли пройти версты три али четыре?

– Пройду, отец.

– Ладно. Слушай тогда. Восхода солнца ждать нельзя, потому как апостолов надо потрясти! Такоже надо. Ох, надо!.. Ожирели, собакины дети. Придут гнать батогами, а тебя нету. Тут я скажу им, треклятым, как они посрамили знамение Господне и узрили нечистого чрез дурные помыслы свои. Скажу-тко, скажу!

Старец погрозил посохом.

– Надумал так, Александра: подыму сейчас Ларивона, и он поведет тебя, сын мой, версты за три к лесу, и ты там спрячешься. Пять днев поживешь там до субботнего моленья. В субботу явимся к тебе всей общиной, с песнопениями, со иконами древними и кобылицу ту приведем с жеребенком, слышь. И ты выйдешь из леса, яко праведник Исуса, и воспоем аллилуйю!

Лопарев ничуть не обрадовался такому торжественному вступлению в общину, тем более если кого-то сожгут.

– Не надо никого сжигать, – попросил Лопарев.

Старец пристально поглядел на него.

– До субботы пять дней, человече. Успеешь обдумать всю свою жизнь от истока до устья. Коль порешишь быть с нами, выйдешь к общине, и служба будет. Не порешишь – ступай себе с миром. Хоть на восток, хоть на запад.

Лопареву ничего другого не оставалось, как принять условия старца.

– Аминь тогда. Стань на колени, благословлю.

Лопарев опустился на колени.

– Теперь пойду будить Ларивона. Хлеба возьмет тебе, кружку там, баклажку для воды, серных спичек, чтобы огонь мог добыть, топор, чтоб в лесу жить.

Старец поднялся, опираясь на посох, постоял некоторое время, глядя на Ишим, пробормотал что-то себе под нос про бесноватых верижников и ушел, шаркая мокроступами.

Послышался подозрительный шорох. Лопарев оглянулся. Ефимия!

– Тсс! Все слышала, знаю, – промолвила полуночница, горячо схватившись за руку Лопарева. – Ой, хорошо сказал про знамение-то!

– Не было никакого знамения, – вырвалось у Лопарева.

– Было, было! – шептала Ефимия. – Верить надо, Александра, коль под Богом ходишь.

– А потом Елисея на кресте сожгут?

– Елисея-апостола?! Ой, кабы сожгли! Не старец, а лешак, чудовище поморское. Он бы тебя первый батогом ударил по голове, и ногами бы топтал, и грязью бы кидал! Кого жалеть-то! Не пустынник, а ехидна трехглавая! Слушай, Александра, не думай от общины уйти – сгинешь. На каторге али в цепях. В общине твое спасение. Не один Филарет возлюбил тебя, слышь. Идти мне надо. Может, позовет старец. Не уходи же, не уходи! Я в той роще найду тебя. Жди меня, жди!

Лопарев не успел собраться с духом, как Ефимия уползла. До чего же она проворная, бесстрашная и ловкая! Что сказал бы старец, если бы застал сноху возле телеги, жарко пожимающую руку будущему праведнику Исуса?!

VI

Явился Ларивон. Молчаливый, бородатый, с мешком и топором на левом плече и с толстущим батогом в правой руке. Поглядел на барина, как гора на мышь, прогудел в бороду:

– Пошли, што ль, барин.

Ночь играла ясными звездами. Возле берега шумели рябиновые заросли. Ларивон вышагивал впереди, что медведь, переваливаясь с плеча на плечо и ни разу не споткнувшись, и не оглядываясь на неловкого барина.

Шли часа три, не менее.

Слева – пологий берег Ишима, безмолвная степь, а справа по берегу – травы по пояс. Шелестящие, поющие. Из-под ног вылетали потревоженные перепелки. Впереди темнел лес.

Не доходя до леса, Ларивон остановился.

– Тамо-ко хоронись. Батюшка так велел, – указал Ларивон, сбросив в траву мешок и топор.

– Тут нет никакой деревни близко?

– Не хаживал в деревни. Не ведаю.

– А тракт далеко?

– Не ведаю.

Повернулся и пошел в обратную сторону.

Лопарев сел возле мешка, задумался. Потом лег на спину и долго глядел в небо. Такое ли оно в эту ночь над Петербургом или Орлом?

«Навряд ли я когда-нибудь увижу петербургское или орловское небо! Туда мне дороги заказаны. Одна дорога открыта: на каторгу!»

Но если он сам явится к стражникам, то наверняка его посадят в тюрьму и пошлют запрос царю: как поступить с ним после побега?

«Царь еще подумает, что я собирался бежать в Варшаву, и опять упрячет в Секретный Дом».

Ну нет! Лучше умереть здесь, в степи, чем еще раз быть узником Секретного Дома.

Завязь третья

I

Кудрявые темные березы, отчего вы так печально шумите пышной листвою? Неуемные птицы, о чем вы беспрестанно поете в березовой роще? Муторно на душе Лопарева – места себе не находит в тенистой роще.

Плещется тиховодный синий Ишим.

Минули сутки, вторые. На исходе третья ночь. Над Ишимом полыхает предутренняя зарница. Костер то потухает, покрываясь сединой пепла, то мигает Лопареву кроваво-красными глазами углей.

Кого и чего он ждет, Александр Лопарев? Ефимию? К чему она ему, жена сына Филаретова, возросшая в двух раскольничьих монастырях, повидавшая Наполеона? Или он ждет, когда к нему явится община с молитвами, песнопениями, с иконами и позовет его к себе как Исусова праведника?

«Не могу я принять дикарское верование, – думает Лопарев. – Как жить с ними, если они сами себя сжигают во имя святости старой веры? И что в той вере? Заблуждения, мрак?..»

Надо встать и уйти, пока не поздно.

«Но куда уйти? Куда? – в тысячный раз спрашивает себя Лопарев. – Велика ты, Русь, а деться некуда! Пустынна ты под тиранией венценосца, ох как пустынна! Одни сами себя гонят в безлюдье, куда-то в дебри на Енисей, другие идут на каторгу, третьи в поте лица своего добывают хлеб насущный и кормят царскую челядь, а сами живут впроголодь. И терпят, терпят! Доколе же ходить в ярме? Доколе?!»

II

Никуда не ушел Лопарев. Остался ждать Ефимию. Она же обещала найти его.

Утром Лопарев искупался в Ишиме. Дважды переплыл реку, набираясь остуды тела, а в сущности – хотел успокоить мятущиеся чувства.

Солнце повернуло на полдень. День выдался несносно жаркий и душный. Лопарев то встанет, то сядет, то выйдет из рощи в степь и ждет, ждет, когда же наконец появится Ефимия? А ее все нет и нет.

«Она придет. Не может быть, чтобы она забыла о своем обещании. Если только в яму посадили, тогда…»

Лопареву стало жутко. Он не может покинуть эту степь, не повидав Ефимии.

Порхают птицы, беззаботные, веселые, как будто вся березовая роща отдана им на вечную радость.

В зените золотистое облако.

И тишина, тишина. Первозданная…

Когда совсем не ждал – голос:

– Ты ли здесь, праведник Исуса?

Лопарев круто обернулся на голос и попятился. Ефимия ли то?

– Чего так испугался? – А голос, как мед текучий, и сладкий, и приятный, и до того липкий, что Лопарев не в силах оторвать взгляда от Ефимии. Это, конечно, она. Но как же она преобразилась! В синем нарядном сарафане с красной прошвой посередине, с золотой вышивкой по подолу. Под сарафаном батистовая кофта с вышивкой по рукавам, застегнутая на перламутровые пуговицы. Без привычного черного платка. Чудно! Кудрявящиеся на висках черные волосы схвачены красною лентой у затылка, отпущены по спине – струистые, чуть ниже плеч. Совсем не черница и не староверка. Лопарев ни разу не видел ее без платка и в такой богатой одежде. И в самом деле – княгинюшка.

Ефимия держится прямо, вызывающе. Глаза большие, блестящие, как черные камушки в родниковой воде, с лукавым прищуром. В припухлых, капризно вычерченных губах играет усмешка. Виднеется полоска широких зубов. Белых-белых. На подбородке ямочка. Такие же ямочки на пунцовых щеках, будто кто надавил пальцами. В руках Ефимии – маленькая иконка Богородицы, отделанная сканью и золотом. Ноги в шагреневых ботинках с высокими голенищами, застегнутыми на пуговки.

Лопарев оробел, утратил дар речи и чувствовал, как прямо в жилы ему льется кипяток из ее черных глаз. На вид совсем юная и хрупкая. Но если бы он мог знать, какая сила сокрыта в ее красивом и спокойном теле!..

За спиною Ефимии толпились толстые березы, выросшие из одного корня.

Лопарев навсегда запомнил Ефимию на фоне трех берез.

– Ждал меня? – Ефимия поклонилась в пояс, прижимая иконку к ложбине между грудей.

Лопарев кинулся к Ефимии, но она дико отскочила.

– Погоди, Александра. Не подходи, – проговорила она и поспешно перекрестилась. – Возьми палку и бей. Лупи меня, лупи!

Лопарев вытаращил глаза:

– Что ты, Ефимия?

– Али забыл, как толковал тебе старец Филарет?

Лопарев, конечно, забыл.

– «Алчущего накорми, жаждущего напои… бо се есть Божья любовь, Александра! Блудницу батогом гони, лупи, бо се есть бесовская любовь», – напомнила Ефимия слова старца и опустилась на колени.

– И я пришла, видишь. В наряде пришла федосеевском, какой дядя мой, Третьяк, сохранил от покойной матушки. Если бы старец узрил меня в этом наряде, на огонь поволок бы, как ту Акулину. Да не все, Александра, под волей старца. С общиною в Сибирь идет мой дядя Третьяк. Потому: третьим сыном был после мово покойного батюшки. Кабы не дядя Третьяк да не Юсковы, сгила бы я. Убил бы меня зверь окаянный, Мокей Филаретыч, крепость моя страшная! Прости меня, Богородица Пречистая.

Ефимия истово перекрестилась.

– В Писании сказано: жена да убоится мужа своего. Рабыней станет по гроб жизни. Нет! Клянусь светлым ликом материной иконки, не стала я рабою, не стала я женою Мокея, хоть и повязала меня судьба с ним. И никогда не буду ничьей рабыней. Родилась я на свет вольной птицей, и только сама черная смерть, худая немочь, укоротит мой дух и спеленает меня по рукам и ногам.

Ефимия трижды поцеловала иконку.

– К тебе пришла, Александра! Видишь какая. Смотри же, смотри блудницу, праведник.

– Я не праведник, Ефимия.

– Не говори так! Ты – праведник, коль на восстание пошел супротив царя и войска сатанинского. Не убоялся. Кланяюсь тебе в землю пред чистым небом, пред ясным солнышком. И как на небе нет сейчас черной тучи, так и в моем сердце нету тьмы, а есть радость зрить тебя, кандальника. Жаждет душа моя света, Александра. Не блудница я, нет! Не верь наветам, если кто чернить будет меня. Душа моя измучилась, а радости не видела. Правду говорю. Нет в моем сердце жалости к Мокею Филаретычу, хоть и спас он меня от лютой стражи собора. Стала я невольницей, а женою никогда не была, хоть породила сына. И горько мне, и тяжко!.. Не жить мне с Мокеем в мире и согласии, как не живет кровожадный коршун с малою горлинкой. Клянусь святым нательным крестом!..

– Помни же, – продолжала Ефимия, – отвергаю я Писание, где сказано, что жена – раба мужа свово. Не рабою, а равною быть хочу. Любви ищу, а не блуда. Такою вели меня на суд собора, такой пошла в Сибирь далекую. Старец говорит, что я еретичка, а по знахарству – ведьма. Да неправда то! Бог не заповедовал держать душу в цепях, а сердце в холоде. Из сердца идут добрые и злые помыслы. К тебе дурных помыслов не имею, видит Бог и небо. Пришла, чтоб узнать тебя и – если ты примешь – отдать свое сердце.

Ефимия поднялась и, выпрямившись, спросила в третий раз:

– Ждал меня?

– Ждал, Ефимия, ждал!

– Блудницу ждал?

– Спасительницу свою ждал.

– Погоди. Я не святая, Александра. И не праведница. Но если бы ты позвал меня на смертный бой с царским войском, я бы с радостью пошла на смерть. Такую ты ждал три дня и три ночи?

– Такую, Ефимия!

– Погоди, погоди, Александра. Ты еще не познал меня и не ведаешь, как я стала еретичкой и Мокей спас меня. Скажу потом. И если примешь меня после того, я готова тогда хоть на кресте гореть.

– Зачем гореть?! Довольно одной несчастной Акулины!

– Ой, ой, какой праведник! Бог бы услышал твои слова, Александра, да вразумил бы темный люд. Радость была бы.

– Будет радость, Ефимия. Будет еще!

– И я помогу тебе, Александра. Слушай, у меня есть пачпорт пустынника, с каким праведники хаживают по земле. Старец Амвросий Лексинский, пещерник, дал мне тот пачпорт,

чтоб я передала его праведному человеку. Я шесть годов хранила тот пачпорт втайности. Шесть годов. И вот настал час, встретила такого человека. Спаси нас, Богородица!..

III

Ефимия достала из-за пазухи что-то завернутое в тряпицу, потом оглянулась, отошла к березе и повесила сверточек на сук, промолвив:

– В тряпице пачпорт пустынника, Александра. Да не запамятуй: ты его снял с березы. Так старцу и скажи. Пустынники хотели тебя батогом бить и грязью кидать, а ты явишься в общину с пачпортом праведника Исусова. Не знаешь, как старец ругал пустынников и посохом лупил? Пришли гнать тебя, а старец их встрел проклятием. «Иудины дети, собаки нечистые, знамение Господне явилось, да вы ничего не зрили», – кричал на них. Потом Елисею тайный спрос учинили как нечестивцу грязному. И висеть он будет на кресте до того моленья, покуда ты не явишься в общину. Так порешил тайный совет апостолов-пустынников. А ты явишься с пачпортом. Сам старец упадет тебе в ноги, слышь. Не робей. Так будет, чтоб потом прозрели.

Лопарев слушал и ничего не понимал. Елисей висит на кресте? И он должен явиться с «пачпортом пустынника»! К чему ему пачпорт? Но Ефимия твердит: должен явиться с пачпортом пустынника, и тогда он будет свободен: общинные моленья для него необязательны, он исповедует собственное раденье. Он может учить людей.

– Чему учить, Ефимия?

– Грамоте искушен, поди. Мало ли в общине малолетних отроков, не умеющих читать и писать? Подвиг то, Александра, коль человек несет людям прозренье от тьмы. Я хотела обучать грамоте, да Мокей чуть не удушил меня, яко бесноватую блудницу. А у тебя будет защита – пачпорт пустынника. Скажешь, видение было тебе обучать малолетних грамоте, и никто перечить не станет. Потому: твоими устами глаголет сам Спаситель, скажут.

Вот об этом Лопарев не подумал. В самом деле, если он будет обучать грамоте ребятишек, то не откажутся ли они потом от дикой веры, гонящей их на огонь и в пустыню.

– Пачпорт возьмешь, когда я уйду. Да не забудь: двоеперстием крестись. Иудину щепоть из головы выкинь, из сердца вынь.

Лопарев подумал: не все ли равно Богу, как Ему молятся, тремя или двумя перстами?

Потом Ефимия сказала, что сходит за своими узлами, которые она спрятала в роще, перед тем как выйти к нему. В одном узле была ее староверческая одежда: черная юбка из грубой ткани, холстяная кофта и чирки-мокроступы из яловой продегтяренной кожи. В другом узле снедь: отварные куры, каравай свежего пшеничного хлеба, вино и пирог с рыбой.

Лопарев приволок подгнившую на корню березу, собрал хворосту и развел костер. Пытливые глаза Ефимии неотступно следили за каждым его движением.

Ефимия собрала обед и отошла к березе.

– Разве ты не будешь со мной обедать?

– Обедай, Александра. Я не голодна.

– И я не голоден.

– Обедай. Я же не могу обедать с мужчиною. Так заведено у правоверцев.

– Это же дикий обычай, Ефимия. Разве мужчина и женщина не едины во всем?

Ефимия ответила:

– Едины духом, не телом.

– Бог сотворил Еву из ребра Адама.

– Не верю в то, – не моргнув глазом, ответила Ефимия. Она стояла возле березы, прислонившись к ней спиною, такая же нарядная и столь же загадочная, как и береза, которую она подпирала своим молодым красивым телом. – Не верю в то, – повторила Ефимия. – В Писании сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земли, и вдунул в него жизнь, и стал человек

душою живою». А разве у женщины не живая душа? Отчего Бог не сотворил так же женщину, как мужчину? Или она не человек? Пошто Бог сотворил тварь ползучую прежде женщины? В Писании сказано: «И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И тогда навел Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер и закрыл то место плотью. И создал Бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку. И сказал человек: „Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего“». Могло ли так быть? – опять спросила Ефимия. – И еще сказано, что змей ползучий совратил жену яблоком. Отчего змей не обольстил человека, а жену? Человек сказал Богу: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне яблоко от запретного древа, и я его ел». Такого человека, Александра, я бы не стала звать мужем. Он съел яблоко, а вину свалил на жену. Такой человек презренный. А Господь Бог сказал жене: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рожать детей своих, и муж будет господствовать над тобою». Какой муж? Поганый трус! И его Бог назвал человеком. Еще Бог сказал человеку: «За то, что ты послушался жены своей, будет проклята земля, из которой ты рожден; со скорбью будешь питаться во все дни своей жизни». Могло ли так быть? За что проклята земля?

Черные глаза Ефимии жгли и чего-то ждали.

Лопарев сказал, что не читал Библии и не знает, что в ней написано.

Ефимия усмехнулась:

– А я читаю Писание с шести лет. Когда жила в Преображенском монастыре, еще до Наполеона, матушка читала Писание и говорила, что оно святое. И я верила. Всему верила и блюла святость, покуда судьба не свела с пещерником Амвросием Лексинским. Пошто так глянул на меня? – И, мгновение помолчав, тихо проговорила: – Слушай, что скажу…

IV

– На малую Пречистую, когда начинает желтеть лист на деревьях, шла я берегом речки Лексы к дяде Третьяку на три дня. Матушка игуменья Евдокия говорила: «Прими пострижение, Ефимия, святой игуменью станешь: вижу в тебе такую тайну святости».

Я готовилась принять пострижение и стать схимницей, да все не могла решиться. То лист тополя трепещет за окном кельи и тревожит душу, то ветер несет мирской дух, а все душа не на месте.

Стану на колени перед материной иконкой Богородицы и молюсь, молюсь, чтобы укрепиться в вере, и вдруг за окном послышался легкий посвист ветра: «Иди, иди, иди», – будто зовет в мир соблазнитель.

Собьюсь с молитвы и реву в голос.

«Матушка, где ты? – зову покойную мать. – Отзовись! Я сижу в келье, и нет мне покоя ни днем, ни ночью. Для чего ты меня породила на свет божий? Ужли для четырех стен и вечного раденья? Скушно мне, матушка. Глаза бы не глядели на каменные стены! Что в них, в тех стенах? Одно забвение, вечная упокойница. Живая, а в могиле. Страшно мне, матушка!»

Но никто не отзывался на мой голос. И в снах не снилась мать, какую помнила.

Проведала про мои стенания игуменья Евдокия и говорит: «Мучает тебя, Ефимия, искуситель. Ступай к дяде на три дня и скажи ему, чтоб он благословил тебя на пострижение. И ты станешь святой девой непорочной. Прославится имя твое по всему христианству, и будут поклоняться тебе девы мирские, чтоб укрепиться в нашей вере. В том великая благодать».

Во всем монастыре никто из белиц не знал так Писание, как я. Сама игуменья Евдокия часто просила меня совершать малые чтения и слушала, как я по памяти читала откровения пророков. Диву давались, а того не ведали, что Писание вошло в меня с молоком матери.

Вот и шла я к дяде Третьяку за благословением. Под вечер так, версты за три от монастыря, вспомнила, что в каменной пещере, чуть от берега Лексы, живет старец Амвросий Лексинский, про которого сказывали, что он из князей, был офицером до пострижения и жил в Петербурге.

Думаю, дай гляну на святого Амвросия. Может, он укрепит меня в вере.

К пещере вела тропка среди вереска. Шла я по ней, а сердце замирало от страха. Всякое говорили про пещерника. Будто он зарезал ножом искусительницу, деву, которая приезжала к нему из Петербурга; кого-то из скитских филипповцев пришиб камнем. И что из самого Церковного собора приходили к нему келари за святым благословением. Как-то примет он меня, думаю. А вдруг пришибет камнем иль зарежет, как деву петербургскую?

Подошла к пещере и сробела. Холодом налились ноги и руки. И вдруг слышу стенания:

– Господи! Избави меня от лукавого. Вижу, вижу, разные люди творили Писание. Не словом Бога, а человечьим разумом. Все, все вижу! Прелюбодеяния вижу, корыстолюбие вижу, Господи!

На всю жизнь запомнила я эти стенания подземные. Замерла возле черных камней пещеры и стою так – ни жива ни мертва. А из камней слышится голос:

– Будь ты трижды проклят, лукавый Моисей! Не словом Божьим писал ты откровения, а хитростью, чтоб ввести в заблуждение род людской. Презренный!

Внутри меня все помертвело от такого еретичества. Слыхано ли, святой пещерник проклинал пророка Моисея! Как тому поверить?

Подумала я, искушает меня нечистый перед пещерой, чтоб опорочить святого старца. «Нет, думаю, не свершу святотатства. Пойду к пещернику и все скажу ему, что слышала. Пусть знает, как лукавый ходит возле его пещеры и соблазняет праведные души».

За диким вереском шел спуск в пещеру. Ступеней на семь так, запомнила. Дошла до дубовой двери, стучусь, никто не отзывается.

– Именем Исуса – отзовись, старец! – кричу в дверь.

– Изыди, искуситель! – послышалось в ответ.

– Я не искуситель, а белица монастырская Ефимия. Пришла к тебе, чтоб укрепиться в праведной вере.

И опять старец вопит в ответ:

– Изыди, изыди, Сатано!

Мне было страшно. Ночь застала меня у пещеры, долго я стучалась, покуда Амвросий не открыл дверь.

Он встретил меня с крестом. Я на коленях вползла в пещеру.

Помню, при свете восковой свечки Амвросий показался очень высоким, согбенным и совсем белым, как вот эта кора березы. Бороду он носил длинную, по пояс. Такие же белые волосы на голове спускались у него ниже плеч. Руки у него были холодные, белые. Одет он был в длинную холщовую рубаху, которая не покрывала его голых ног.

Я сказала, что заблудилась в лесу и вдруг услышала возле пещеры голос искусителя, как он проклинал Святое Писание Моисеево и что Библию творили человечьим разумом, а не словом Божьим.

Амвросий испугался моих слов и затрясся, как лист на дереве от ветра. Я видела, как он протянул руку за поморским ножом, какой лежал на столе.

– Не убивай меня, не убивай! – крикнула я, не в силах встать на ноги. – За святостью к тебе шла, не за смертью. Видит Дева Пречистая, дурных помыслов не имею.

Слова ли мои помогли или что другое, но старец бросил нож и, глядя на меня, сказал:

– Вижу, дщерь, погибель изыдет от тебя на меня, как на Адама от Евы нечестивой. Да будет так, аминь. Рок не минул моей головы – на то воля Божья. Встань, дщерь, и дай мне поглядеть на тебя.

Не помню, как я поднялась. Амвросий усадил меня на доски, покрытые рогожей. В пещере были одни голые камни, дымная печурка, на которой стоял черный котелок, сухари на столе, много пучков сухой травы. Возле стола на ларе были сложены книги: Библии на разных языках и печатные откровения пещерников.

Амвросий глядел на меня долго-долго, потом закрыл лицо ладонями и упал на колени.

– Евгения, Евгения, прости мя! – закричал он и схватил меня за ноги.

Я вся заледенела. Думала, пришла моя смертушка.

А старец бормочет:

– Прости мя, Евгения. Не убивал я тебя, не убивал! Искуситель поднял мою руку, видит Бог. Молюсь за тебя, Евгения, прощения прошу. Не мучай меня на исходе лет. Сокройся, если ты не плоть, а дух.

Старец еще что-то бормотал, не помню. Он принял меня за какую-то Евгению. Я сказала, что я Ефимия, белица монастырская.

– Ты ушла в монастырь? – спросил старец.

Я ответила, что с детских лет живу в монастырях. Сказала и про Преображенский, и про Лексинский.

– Ты не Евгения? – допытывался старец.

– Ефимия я, Ефимия, – твердила я.

– Если то правда, как ты говоришь, и если ты не дух, а тело, покажись вся, чтобы я видел тебя без рубища и узнал бы: Евгения ты или чужая белица.

Боже, как дрожали мои руки, когда я снимала свое платье перед старцем! Ничего не помню. Страх перед старцем будто отнял у меня рассудок и память.

Как сейчас вижу. Сижу нагая на досках, а старец со свечою в руке глядит на мое тело и что-то ищет. Меня всю трясет, и я не могу вымолвить слова.

– Нету тех родинок. Нету! – вдруг сказал старец. – Вижу, ты не дух, а плоть. И не моей Евгении плоть. Спаси, Господи! Оденься, дщерь человеческая, и скажи, что тебя привело ко мне?

Я натянула на себя платье и сказала, что пришла к нему, чтоб укрепиться в вере.

– Во что ты веруешь, дщерь? В Писание? – бормотал старец и потом спросил: – Слышала мои стенания, как я говорил про бытие Моисеево? То был мой голос. Куда ты шла? К дяде на три дня? Вот и хорошо. Будешь жить у меня три дня и три ночи, и я открою тебе великую тайну, если ты поклянешься, что словом не обмолвишься, где была три дня, что видела и что слышала.

Я дала такую клятву…

С того началось, Александра Михайлович.

Амвросий читал мне Библию не как игуменья или старцы, а как ясновидец, прозревший тьму на исходе своей жизни. Помню, он говорил: «Жил я, яко агнец незрячий, в мирской суете, жил среди людей знатных и образованных. Носил погоны офицерские и ездил в карете со своим гербом, а душу имел алчного дикаря и невежды. Верил в то, во что верили люди, пребывающие во тьме. Любили меня, я любил. Потом познал великую любовь белошвейки Евгении. Вечную любовь, без какой не может жить человек. Белошвейка – не княгиня, не графиня, и я не мог жениться на ней, хотя дня не помышлял прожить без нее. Тогда послал меня родитель воевать Емельку Пугачева. Молод был, по двадцать первому году, и отвагою и лихостью прославился от Казани до Петербурга. А потом, как начали казнить пугачевцев да распинать их на столбах, вешать на деревьях, содрогнулась моя душа. Черным показался белый свет, и любовь к Евгении угасла в сердце. Как можно коснуться девичьего тела руками, испачканными кровью? Чудилось мне, что я весь в крови пугачевцев. Мучили они меня во сне, проклинали, и я ни в чем не находил утешения. Потом помог захваченным пугачевцам бежать от стражи и ушел с ними в Поморье, в монастырь. Много пронеслось дней в поисках, дщерь, пока я не обрел пещеру».

Амвросий говорил, что за долгие годы в пещере он перечитал много Библий на разных языках, каким был обучен в молодости. «Не словом Божьим, а промыслом людского разума творилась Библия, – говорил Амвросий. – Познал я еврейский и греческий языки, чтоб читать Библию в первозданности. И вижу: разночтений множество, прелюбодеяния и скверны, как в миру навоза». Так и говорил Амвросий; я слово в слово помню его речения. В семнадцать годов у девицы память как прошва на батисте. Батист износится, а прошва видна все ярче да ярче.

Амвросий открыл мне, что Библию творили евреи по сказаниям других народов: египетских и вавилонских. Семь годов он собирал древние книги, пока уразумел тайную суть.

«Человек пребывает во тьме, а тьма – тенеты невежества и неразумения, – толковал Амвросий. – Вижу, – говорил он, – не в Библию веровать надо, а в дух вселенский, в солнце, яко греющее нас, питающее нас. В том Бог, откуда исходит благодать. Слова – вода, текут по склону, а не в гору. Напустили в Библию много слов и наполнили ими землю. Заблуждение ввели да рабство. Не должно быть рабства, дщерь. Человек – земное светило, и от рождения каждый равен другому».

Как сейчас вижу Амвросия Лексинского: весь белый, сидит сгорбившись и толкует мне Писание, как надо читать и понимать.

Амвросий звал меня своей дщерью и взял трижды клятву, что я до конца дней буду нести в мир слово прозренья от тьмы, а не саму тьму.

«Будь послушна, дщерь, яко овца; живи со общиною, – наказывал он. – Но пусть река твоей веры перебьет течения мутных вод, и ты обретешь вечность. Не сразу, не в день откроешь людские души. Наберись на то терпения. Гнать будут – терпи. Бить будут – не плачь. Помни, свет не сразу пробивает тьму. Глянь на восход солнца. На востоке заря от солнцевсхода, а в лесу темно, как в колодце. Но ты не отступайся от тьмы. Точи ее словом, и камень станет дресвой и распадется».

«Стар я и немощен телом, – говорил Амвросий. – Если бы я, дщерь, был так же молод, как ты, вышел бы из пещеры и жил бы, как Мафусаил, девятьсот годов, только бы открыть истину людям. Но вижу, жизнь моя на исходе. Изморил себя постами и раденьями, а не тяжестью годов. Клянись, дщерь Ефимия, клянись жизнью своей, чревом своим, кровью своей, что ты пронесешь мои откровения людям через всю тьму».

И я клялась. Старец добыл ножом кровь из моего пальца, и я начертала крест на Библии греческой. Амвросий посыпал мою голову пеплом из очага, и я припала к его стопам, как к святому источнику в пустыне Аравийской.

Так было, Александра Михайлович…

V

– …Всю зиму и весну я тайно ходила в пещеру, и Амвросий встречал меня светлым сиянием. Грешна, может, но во всей Поморской земле от моря до суши, во всей Олонецкой губернии не видела я никого, кто мог бы заполнить мою душу, как Амвросий Лексинский. Для меня он был как Светлое Христово Воскресенье.

Есть ли в том грех? Если есть – грешна, но не каюсь. Повторись та пещера сейчас – была бы в ней, видит Небо.

Амвросий открыл мне столько тайн создания Библии, столько открыл тьмы и заблуждений, сколь не познаешь в целый век, если Библию читать незрячими глазами.

У себя в келье я тайно вела запись речений Амвросия и хранила в волосяном тюфяке. Грешна, каюсь.

Амвросий научил меня распознавать травы и варить из них полезные для здоровья зелья. Ни ползучая тварь, ни какой другой зверь не страшны были старцу. Я зрила собственными глазами, как змеи замирали от взгляда старца и он звал их за собой посвистом, как ручных.

И они ползли за ним. Протянет руку к змее, посвистывает, и змея вползает в рукав рубахи, а из другого выползает наземь. Иль свернется и одеревенеет. Меня учил тому, хоть я и брезговала гадами ползучими.

«Тварь ли, зверь ли – покорны человеку, – наставлял Амвросий. – Нет на земле силы выше разумения человеческого. Гляди вот так на гадину ползучую, собери в себе весь дух, и гадина замрет, как неживая».

Боже, не ведаю, как то случилось, но Амвросий сам отрекся от Бога и на глазах пришлых монахов Выговского монастыря, какие пришли к нему за словом веры, попрал Святое Писание, как скверну: рвал Библии, Евангелие, топтал их ногами. Его схватили, связали по рукам и ногам и так доставили на великий суд Церковного собора. Жестоко пытали в подвалах, жгли железом, выворачивали руки, предавали анафеме, как буйного еретика, и он назвал мое имя…

Из собора за мною прислали десятского и стражника. Не помню, как я пережила те дни. В монастыре игуменья собрала всех белиц и монахинь на великую службу очищения духа – изгоняли ведьму. Меня водили по ограде голышом, и каждая монашка и белица плевали на мое тело.

Келью мою, в которой я жила, закидали коровьим пометом. И стены, и два окошка, и пол. Когда монашки потащили мой тюфяк на сжигание, я упала в ноги матушке игуменье и просила ее, чтоб она позволила мне достать из тюфяка мои записи. В тех записях хранился и пачпорт…

– Возьми, возьми свою нечисть! – разрешила игуменья. – Не послушалась меня, еретичкой стала. Собор порешил казнить люто, и нет тебе спасения. Семь годов будешь сидеть на цепи в каменном подвале в студеной воде, какую напустят тебе по шею. Захочешь утонуть – цепи не пустят. Тело твое подвесят на цепях. Опосля семи лет кары сожгут тебя, и пепел развеют по Студеному морю.

Жила ли я в те часы? Не знаю, не ведаю. Вся оплеванная, во власянице, какую натянули на меня монашки, босая, с обрезанной косой, вышла я к десятскому Церковного собора и к стражнику. Под власяницей спрятала записи. Зачем – не знаю. Думала так: «Если меня будут казнить, пусть предадут смерти с моим грехом. Если же я познала у старца великую правду, тогда минует черная смерть мое тело. И клянусь всем святым, что есть на белом свете, буду служить людям сердцем и душою, умом и руками, чем могу и сколько буду жить».

Такую дала клятву вот перед этой иконой Богородицы.

…Перед смертью мать говорила мне: «Береги, Фима, иконку. В ней все мое достояние. Писал ее иконописец Рублев, а сканью и золотом выложил филигранщик Костоусов-Пермский». И что иконку надо хранить как святыню.

«Если доведется тебе, – говорила матушка, – свидеться с кем из князей Дашковых, покажи им иконку, и они узнают тебя. Если не признают за сродственницу, анафема всему ихнему роду…»

Вот с этой иконкой вывели меня из монастыря Лексинского и повели в Выговский, где ждал меня приговор собора. Я узнала от десятского, что Амвросий умер от пыток и тело его увезли к морю и там выбросили на съедение рыбам.

«Вот сейчас ты – красавица-белица, – говорил десятский, – погляжу на тебя через семь годов – старуха будешь. Вся почернеешь, как твои сатанинские глаза. Может, потом поручат мне предать тебя смерти. Уж справлю я свою должность во славу Господа Бога!»

Мне стало страшно от таких слов. Меня всю трясло.

До ночи стражник и десятский ехали на телеге, а я шла за ней, привязанная веревкой, со скрученными назад руками. Я упросила десятского, чтоб материну иконку дали мне в руки. Он смилостивился, и я держала ее в руках за спиной.

На ночь стражник и десятский остановились на отдых в дремучем лесу. Узкая щель дороги, уложенная бревенчатым настилом, дыра в небо да огонь костра. Я все молилась и молилась. Стражник развязал мои руки, чтоб я приняла пищу и воду. Тут подошел охотник-помо-

рец. Он нес славную добычу. Как все правоверцы, носил бороду, хоть и молодой был. Десятский хотел прогнать его от костра, но парень разговорился про удачливую охоту, и они забыли про меня, не связали руки.

Помню, десятский сказал, показывая на меня: «Вот мы тоже добыли волчицу-ведьму. Гляди, какая красивая тварь!»

Охотник стал разглядывать меня и спросил, ведьма ли я.

– Не ведьма, а веру-правду ищу для людей, – так ответила.

– Какая твоя вера? – вопрошал охотник.

– Моя вера, – сказала я, – вся в поисках, как темная ночь в звездах, когда на небе нет тучек. Ищу правду. Как жить и что надо делать, чтоб счастье иметь.

Моя ли речь, сказанная от сердца, а может, охотника обуял соблазн, но я видела, как притемнилось его лицо. Десятский сказал ему, чтоб он не искушал себя разговором с ведьмой, и охотник отошел и лег возле костра.

Потом и стражник лег, и десятский. Стражник на ночь скрутил мне руки и привязал веревку за свою руку, если подымусь, его разбужу.

А я все молилась, чтоб Богородица Пречистая укрепила мой дух и тело, чтоб защитила меня от людей дремучих, утопающих в невежестве, как кочки в тряской мшарине поморских болот. Идешь по болоту, прыгнешь на кочку, и она сразу уходит во мшарину. Так и люди темные. Торчат будто над бездной болота жизни, а обопрешься об такого человека – он весь уходит во мшарину невежества и тебя тянет за собой.

Охотник будто храпел – так крепко спал, но вдруг поднялся, прислушался к стражнику и десятскому, взял свое ружье и добычу и, ничего не сказав, развязал меня, а веревку привязал к колесу телеги. Потом поднял меня и унес в лес. Сердце мое сильно-сильно билось, и я не знала, куда несет меня человек. И человек ли?

Охотник притомился, положил меня на землю и сам обвязал мне босые ноги звериными шкурками.

– Теперь можешь идти? – спросил он.

– Могу, – ответила.

– Тогда пойдем скорее. Идти нам далеко. Завтра к ночи доберемся до надежного места, и я тебя там укрою. Меня зовут Мокеем. Женой моей будешь, слышь. Приглянулась ты мне. Ежли ты и в самом деле ведьма, сам предам тебя казни, без собора. А стражники пусть тащат на суд собора колесо от телеги.

Хоть и спас меня Мокей от страшной казни, но не было в моем сердце тепла к нему. Стала говорить с ним про Писание, он махнул рукой: «Ты, говорит, про Писание толковать будешь с моим батюшкой. А мое дело – охота, промысел в море».

Как я ни умоляла дикого человека – он преодолел мою силу, овладел телом да еще измывательство учинил: «Пошто, говорит, тело твое студеное, как из воды вынутое?» А того понять не мог: откуда телу горячему быть, коль берут его силой?

С той поры возненавидела я Мокея Филаретыча, да бежать мне было некуда. Куда бы я ни сунулась в Поморье – угодила бы на цепи в каменные подвалы собора.

Проведал Мокей про Амвросия Лексинского и долго допытывался, как я жила со старцем. Греховно ли? Не ведьма ли я? Изводил меня долгими ночами, как огонь лучину. «Ну, думаю, не жить нам двум на земле!» – до того мне тяжко было.

Когда в Поморье заявилось царское войско, мой дядя Третьяк с Юсковым семейством бежали с Лексы на Сосновку и тоже приняли крепость Филаретову, только б не погнуть голову перед анчихристовым войском. Потом в Сибирь собрались.

Вот и едем мы. Ехали летом, и осенью, и зимой, и вот опять настало лето. Еще далеко, говорят, до Енисея!..

Вот и вся исповедь моя перед Богородицей Пречистой и перед тобою, Александра. Суди сам, какая есть. Ничего не утаила, и ни о чем больше не спрашивай.

VI

Тихо шумели березы, как бы умиротворяя, но Лопареву припомнились и первые допросы у графа Бенкендорфа и генерал-адъютанта Чернышева, и следственная комиссия с ее каверзными вопросами; Сперанский, которому царь доверил определить степень виновности и меру наказания для каждого декабриста; и допрос царем; и тесная камера в Секретном Доме; и мутное наводнение тюремной решетчатой тишины, когда все внутри натянуто в звенящую струну, и ты все слушаешь, слушаешь звуки, исходящие из собственного сердца, и кажется – настал конец жизни; и побег с этапа, – все это разом опеленало Лопарева тревогою, беспокойством, и он, глядя на Ефимию, невольно проговорил:

– Как ты все это пережила?

Ефимия опустилась на колени, поклонилась в землю.

– Пережила и радуюсь, радуюсь! Судьба смилостивилась и послала мне человека, пытанного железом, которого примет община, и он пойдет с нами в Сибирь, до Енисея. Радуюсь тому, Александра! Не ведаем мы страха, не ведаем неволи. Слушай, будь Исусовым праведником, и ты всегда будешь со мною, и я откроюсь тебе сердцем, как птица крыльями навстречу воздуху. Ты вышел из мертвых, чтобы жить вечно. Будь таким, и я жена твоя перед Богом!

И само солнце будто плеснуло жаркими лучами. И птицы примолкли в роще…

– Приди же, приди ко мне, возлюбленный, и я открою уста для твоего сердца, – тихо молвила Ефимия, простирая к Лопареву руки. – Пусть нашим ложем – трава зеленая; пусть крышею дома – небо синее; пусть виноградниками моего сада будут шумящие березы! Я жду тебя!..

У Лопарева горело лицо и сохли губы.

– Ефимия! Сестра моя! Подруга моя!

– Говори же, говори. Ибо слова твои слаще вина. Не смотри на меня, что я телом смугла, ибо солнце опалило меня на большой дороге. Я шла и ждала тебя, как солнце ждут после темной ночи. И ты явился ко мне из ночи, и я первая узрила тебя и дала тебе воды утолить жажду и любовь свою! Ты не видел рук моих, не зрил моих глаз, ибо в теле твоем замерла жизнь, а я была рядом с тобой, и никто про то не ведал!.. Ты звал меня в беспамятстве чуждым именем, да я не верила тому, думала: «Меня, меня зовет!..»

– Тебя, тебя, Ефимия!

– Тогда я сказала себе: «Он будет мужем моим перед Богом. Он пришел ко мне в железе. Я хочу, чтобы он был волен, как птица!» Я тайно жила с тобою неделю, сторожила твой сон, гнала хворь, хоть ты и не ведал, что есть такая живая плоть, которая любит тебя пуще всего на свете!.. Не подходи, слушай… Зрить хочу тебя, просветленного и ясного, как вот солнышко. И пусть твои горячие руки после стылого железа обнимут меня и найдут тепло! Я – твоя. И пусть в общине знают тебя как праведника, для меня ты будешь вечной радостью. И я скажу: «Мирровый пучок – возлюбленный мой, и он у моей груди пребывает. Как кисть кипариса, возлюбленный мой, и я навсегда отдам ему свои виноградники!..» Как не повторится ночь, так не воскреснет вчерашнее, прожитое. Лист опавший не подымется вновь на древо жизни; трава сожженная не станет вновь зеленой. Будь моим возлюбленным перед Небом и Богородицей Пречистой, и я скажу тебе: не рабыню нашел ты, а верную подругу, с которой и горе не бывает горьким. Пусть весь пламень моей души будет твоим огнем. Пусть живу я твоим сердцем, ибо я – жена твоя перед Небом чистым. И не бесовская то любовь, а Божья, Божья! – в исступлении говорила Ефимия, глядя в глаза Лопарева.

– Подруга моя, возлюбленная моя, – бормотал он.

– Твоя, твоя! На веки вечные! – молвила Ефимия. – Скажи, что ждешь ты ото дня грядущего? Тьмы или света?

– Света, света жду!

– Пусть стану я для тебя вечным светом! Ищу я, ищу, возлюбленный мой, не покоя, не богатства, а прозрения от тьмы, кипения и огня!.. В глазах моих нет тьмы, а есть пламень. И этот пламень никогда не угаснет, доколе ты будешь со мною вместе.

– Мы уйдем из общины.

– Нет, нет, Александра! Нельзя уходить. Из крепости в крепость не уходят. Ты будешь праведником и пробьешь тьму невежества. И я помогу. Пусть нам будет трудно, но люди должны прозреть – в том счастье великое!.. Ты видишь, еще не отросла моя коса, отрезанная игуменьей Евдокией, еще в душе не залечились раны пережитого испуга, когда меня во власянице тащили на веревке к телеге, но я не та, какая была в ту пору. Нет той Ефимии. Есть другая, какую никто не знает. Только ты один. Перед тобою открылась вся, как зарница на небе… Иди ко мне, возлюбленный мой, муж мой! – И протянула Лопареву зовущие руки.

VII

Сказывают старообрядцы: судьбами людей наделяет Бог с высоты седьмого неба.

Еще толкуют: в одной руке у Бога судьба, а в другой – горючая, как пламя, любовь, какую редко кто из баб ведает на святой Руси. Точно Богу известно, что русской бабе любовь ни к чему, – некуда ее употребить. Как вышла замуж, народила детишек – тут и конец бабьей любви. То свекор ворчит, то свекровка клюкой стучит, то муженек попадется – ни колода, ни вода у брода. Перешагни – не встанет, перебреди – груди не замочит.

Румянцем зальется белица, когда ее невинного тела коснется рука мужская. А через два-три года – пустошь в душе, и глаза словно выцвели и спрятались внутрь, как горошины в стручок: не сразу сыщешь, что в них было в девичестве.

В редкости падает на избранницу любовь: водой не залить, хмелем не увить и цепями не спеленать; она горит до самой старости…

Такая любовь таилась и в сердце Ефимии и сейчас выплеснулась на беглого кандальника, и он впервые узнал, как горяча бывает и неистребима женская любовь, подымающая человека со смертного одра.

От солнца ли полуденного, истомного, от духмяных ли трав, обволакивающих, как туманом, от жарких ли поцелуев Ефимии или от ее пронизывающих слов, бередящих душу, у Лопарева кружилась голова, щемило сердце, и он беспрестанно твердил одно и то же: «Не уходи, не уходи… Ради бога, не уходи!»

– Идти надо, возлюбленный мой, – шептала Ефимия, глядя в небо сквозь сучья березы. – Я еще травы должна собрать, чтоб духовник не заподозрил. Глаза у него, как у змея, а сердце каменное.

– Я его ненавижу!

– Тсс… – Ефимия закрыла ему ладонью губы и чему-то усмехнулась. – Жить надо, Саша! Ты просил, чтобы я тебя так называла, помнишь?

Лопарев ничего не помнил.

– Ядвигой меня звал. Семь ночей звал, и я откликалась на твой голос. В уста целовал меня, руки целовал… Богородица Пречистая, прости мне тот грех!

– Не было у меня любви с Ядвигой, – сказал Лопарев. – Нас повязала клятва.

– Какая же?

– Царь не дознался, комиссия не дозналась, а тебе скажу. Я был узами братства связан с польскими патриотами. Не знаю, когда сбудется, но вся Польша восстанет за свою свободу!

– С католиками какое же братство?

– Не с католиками, а с такими же поруганными, как и все мы, русские. Клянусь девятью мужами славы – восстание еще будет! От Польши до Москвы. Вся Россия займется огнем…

– Ты говорил такое, когда сам огнем горел. И такую же клятву давал: «девятью мужами славы». Какие это мужья?

Лопарев сказал, что девятью мужами славы считались три иудея – Иисус Навин, Давид, Иуда Макковей; три язычника – Александр Македонский, Гектор, Юлий Цезарь; три христианина – король Артур, Карл Великий и Гектор Бульонский.

– Ой, ой, сколько! – усмехнулась Ефимия. – Я знаю только двух: Иисуса Навина и Давида. Не Иисуса, а Исуса, как называют правоверцы…

Солнце клонилось к вечеру, а Ефимия все еще никак не могла расстаться с возлюбленным.

– Господи, что скажу батюшке Филарету? Беда мне, Александра, беда! Не дай Бог, если он что заподозрит…

– Я же говорю: уйдем из общины, – напомнил Лопарев.

– Куда же, Саша? Куда? К еретикам или царским висельникам? Ни ты не вольный, и я птица со связанными крыльями. На первой же версте остановят и тебя повяжут в цепи. А как же я? Куда тогда?

Лопарев ничего утешительного придумать не мог. Сам знал: куда ни сунь нос – чужие. Ни вида на жительство, ни знакомых в неведомой Сибири.

Ефимия догадалась, о чем думал.

– Одна у нас дорога – в общину. Бог даст, и щель откроется, тогда уйдем.

– Как ты будешь с Мокеем, когда он вернется?

– Не надо, Александра, и без того страшно… Пойду я, милый, не держи меня: сами себя погубить можем. Прости меня. Я ждать буду «Исусова праведника», помни. Другой дороги нет, Александра. Ждать надо. Терпеть надо. Вся Русь терпит, слышь!

И ушла…

VIII

Минул пасмурный субботний день, и настал вечер. Лопарев сидел у костра, в который раз перечитывал пачпорт странника-пустынника:

«Объявитель сего, раб Божий Исуса Христа, праведник, уволен из Иерусалима, града Божия, в разные города и селения святой Руси ради души прокормления. Промышлять ему праведными трудами и работами, еже работати с прилежанием, и пить и есть с воздержанием. Против всех не прекословить, убивающих тело не боятися, и терпением укреплятися, ходить правым путем во Христе, дабы не задерживали бесы раба Божия нигде. Аминь. Утверди мя, Господи, во святых заповедях стояти, и от Востока – тебя, Христе, к Западу, сиречь ко Анчихристу не отступати. Господи Исусе, просвещение мое и спаситель мой. Аще ополчится на мя полк, не убоюся. Покой – мой Бог, прибежище – Христос, покровитель – Дух Святой. А как я сего не буду соблюдати, то опосля много буду плакати и рыдати. А хто странняго мя приняти в дом свой боитися, тот не хощет с господином моим знатися. А царь мой и господин – Исус Христос, сын Божий. Аминь.

Дан сей пачпорт из Соловецкой обители праведников на один век, а по истечении срока явиться мне на страшный Христов суд. Имя праведника – Раб Божий, опричь других имен нету. Явлен пачпорт в святую ризницу Соловецкого монастыря, и в книгу животну под номером будущего века прописан, и печатью Обители праведников припечатан на веки вечные. Аминь».

Пачпорт написан был тушью на толстой бумаге, уже пожелтевшей, с переломами на сгибах. Стояли какие-то неразборчивые подписи соловецких праведников и большущая печать.

С такими пачпортами во времена Разина и Пугачева соловецкие странники хаживали по всей Руси, из губернии в губернию. И если праведник умирал в дороге, пачпорт передавался в другие надежные руки, и слово Божье шло дальше. Потому-то в пачпорте и не указывались имя владельца и его приметы. И кто знает, кто и где скитался по Руси с этим «пачпортом, прописанным в книгу животну под номером будущего века» до Амвросия Лексинского, покуда он не попал в руки Ефимии, а от нее – к беглому Лопареву…

Не хотел бы Лопарев предъявить этот сомнительный пачпорт старцу Филарету, но он дал слово Ефимии, что явится в общину с пачпортом, неведомо кем оставленным на суку березы.

Субботняя ночь…

Где-то в степи вышел из рощи и увидел, как вдали двигалась черная поющая лавина людей, озаряемая трепетными огоньками свечей. Пение все ближе и ближе.

«Это же все вздор, и я должен поверить во всю эту чепуху да еще представиться каким-то пустынником с дурацким пачпортом!» – думал Лопарев, а поющая толпа придвинулась саженей на сто от рощи.

Впереди шел старец Филарет и вел кобылицу. Но жеребенка не было с ней: не поймали, может?

Кобылица скакала на трех ногах…

«Исусе сладкий, Исусе сладчайший, Исусе пресладкий, Исусе многомилостивый…» – трубно тянули выступающие впереди праведники-апостолы с иконами. Некоторые старцы были увешаны веригами, ружьями, чугунными гирями на веревках; а один из пустынников горбился под тяжестью деревянной бороны. И все это двигалось, крестилось, орало.

Остановились саженях в тридцати от Лопарева и зажгли множество свечей, озаривших равнинную степь.

«Благослови еси, Господи Боже, Отец наш, хвально и прославлено имя Твое вовеки!..» – затянул Филарет.

– Аллилуйя, аллилуйя!

У Лопарева одеревенели ноги – шагу ступить не мог. Вот так же, наверное, орали молитвенное песнопение в судную ночь, когда жгли у березы Акулину с шестипалым младенцем.

Филарет в облачении духовника подошел к Лопареву на шаг, поднял золотой крест, спросил:

– Ты ли здесь, человече, посланный нам знамением Господним?

У Лопарева едва повернулся язык…

– Здесь я…

– Прощаешь ли нам тяжкий грех, когда мы прогнали тебя из общины и знамение Господне попрали, яко свиньи?

– Прощаю, отец…

– Воспоем аллилуйю, братия и сестры, и ты с нами воспой, человече…

Пропели аллилуйю.

– Скажи нам, человече, примешь ли ты веру древних христиан, какие с топором и ружьями на царя пойдут, на попов бесноватых, а веры праведной не переменят?

У Лопарева градом катился пот с лица.

– Принимаю…

– Благословен еси присно… – загудел старец и после короткого псалма опять спросил: – Не было ли тебе, человече, какого видения в роще, опричь того, когда Бог послал тебе кобылицу с жеребенком и вывел к нашей общине?

Толпа придвинулась полукружьем и замерла, распахнув сотни жадных глаз.

– Сказывай, человече.

Делать нечего – надо говорить.

– Может, то сон был, не знаю, – начал Лопарев. – Лежу я так у трех берез в роще, где у меня костер горел. Думаю, как мне жить? Как правое дело вершить? Как слово просветления людям нести? И будто слышу, кто-то глаголет мне: «Грамоте обучай отроков, чтоб могли писать и читать, живи как праведник, и радость будет». Потом вижу: на суку березы висит какая-то тряпица. Откуда, думаю? Будто не было тряпицы, когда костер разжигал. Поднялся и снял тряпицу. Тряпка вся истлела, а в той тряпке – пачпорт раба Божьего из Иерусалима.

Толпа чуть отпрянула, и сам старец на шаг отступил. У Лопарева дух захватило: вдруг изобличат с позором да по шее дадут?..

Восковые свечи мотаются огненными косичками.

У Лопарева пересохло во рту.

– Может, кто подшутил надо мной, не знаю, – пробормотал он и развел руками.

Первым опомнился старец. Подошел к Лопареву, попросил показать «пачпорт».

Кто-то из пустынников подсунул старцу икону, на которой разложили восемь лоскутков пачпорта. Долго читали старинную славянскую вязь, буква по букве, и вдруг старец воздел руки:

– Чудо свершилось, чудо! Бог послал к нам праведника из града Божьего Иерусалима!

Глазастая суеверная толпа рухнула на колени.

– Чудо, чудо! – вопили мужики во все горло.

– Чудо, чудо! – визжали старухи.

Старец Филарет упал на колени перед Лопаревым и ткнулся лбом в землю.

– Чудо, чудо!

Лопареву стало стыдно и страшно…

– Всенощную, всенощную! – шквалом пронеслось из конца в конец.

Начали всенощную службу.

Лопарев показал на березу, с которой он снял тряпицу с пачпортом. Возле березы соорудили алтарь, прилепили множество свечей на сучьях, и роща огласилась песнопением.

IX

…После сожжения Акулины с младенцем на обширной елани остался торчать огарышек березы, как черный палец проклятия, грозящий небу.

На огарышек по велению старца Филарета прибили осиновую перекладину – и вышел бело-черный крест.

На крест привязали веревками пустынника апостола Елисея: «Не вводи во искушение, собака грязная!» Это ведь Елисей смутил общину, когда сказал, что видел собственными глазами, как на лбу кандальника, приползшего на карачках к становищу общины, торчали рога Сатаны, а потом вдруг спрятались.

Пустынники со старцем-духовником порешили так: пусть Елисей висит на кресте до того часа, когда в общину вернется праведник, какого Бог послал со своим знамением. Если праведник не простит Елисея, тогда его надо сжечь как еретика и пепел развеять по Ишиму-реке.

Для сжигания Елисея припасли сухой хворост и приволокли на волокуше большую копну сена.

За пять суток жития на кресте Елисей до того почернел, будто его коптили, как поморскую воблу, над дымом.

Первые двое суток Елисей пел псалмы и молитвы.

На третьи сутки от неутолимой жажды перехватило горло, и Елисей не то что петь – шипеть не мог.

В ночь на четвертые сутки полоснуло дождем, и Елисей, задрав бороду, напился воды и окреп.

Поднялось солнце, прижгло лысину, и он, как ни силился, ни одной молитвы припомнить не мог – из головы будто все выпарилось, как вода из чугунка на огне.

«Господи, пощади живота мово, отошли солнце в тартарары, прими мя, Сусе!» – бормотал Елисей.

Ни стона, ни жалобы, конечно, никто не слышал. Разве мыслимо вопить Божьему мученику, как той поганой бабе Акулине!

Власяница впилась в тело, но Елисей не чувствовал ее на своей продубленной коже – привычно.

Хвально так-то во имя Исуса принимать мучения. Радость будет на том свете.

На копну сена и на хворост, припасенный для его сжигания, глядел как на благодать. Если бы его подожгли, он бы еще нашел в себе силы затянуть: «Исусе сладкий, Исусе пресладкий, Исусе сладчайший…» – с песнопением отлетела бы душа Елисея на Небеси, ну а там, в рай Божий. Куда еще?

К субботнему молению успокоился. Обвис на кресте, как мешок с костями, и голову уронил на грудь. Успокоение настало. Ни боли в суставах, ни жажды в глотке. Хвально, хоть и помутился рассудок. С Исусом разговаривал, как с пустынником, и благословение принял двумя перстами. Слышал, будто мимо проходили с песнопениями, но никого не видел: глаза глядели в землю, и шея окостенела – башку не поднять.

Мало того, что привязан на крест, так еще и пудовая чугунная гиря оттягивает правую ногу.

Полуночная прохлада остудила тело апостола Елисея, но он ничего не чувствовал: обтерпелся праведник.

Кажется, опять послышалось песнопение?

Гудит земля, поет, ликует!..

«Хвально, хвально! – радуется Елисей. – Отмучился, должно, в земной юдоли, Господи, помилуй мя! Прими мя на Небеси… отверзни врата Господни… аллилуйя…»

Кто-то взял Елисея за бороду.

– Жив али нет, раб Божий?

Елисей таращил помутневшие глаза, но решительно ничего не соображал: где он и что с ним? Может, опять в избе старца Филарета и братья-пустынники, прозываемые апостолами, пытают его каленым железом как еретика, совратившего общину? «Жги его, жги, пречистый Ксенофонт! – слышит Елисей голос Филарета. – Иуде посох пообещал, а он нас всех нечистым духом омрачил. Иуда!» Елисею надо бы крикнуть, что он не еретик, а праведник. Но ему мешают. Кто-то усиленно трясет его за бороду. «Елисей, Елисей?!» – слышит сладостный голос. Может, он на Небеси и святой Петр вытряхивает из его сивой бороды земную пыль? И свечки горят будто. Или то звездочки Божьи? И ангелы со архангелами услаждают его душу райским песнопением? «Хвально так-то, хвально!» И тут же мысль Елисеева угасла, как свеча, задутая ветром.

Елисей глубоко вздохнул и потянулся…

– Преставился раб Божий!

Старец Филарет набожно перекрестился и затянул поминальный псалом.

Лопарев вытаращил глаза на распятого Елисея и машинально, не помня себя, трижды перекрестился щепотью…

Филарет отступил на шаг в сторону и подал знак ладонью своим верным апостолам, чтоб они помалкивали, будто и не видели еретичного кукиша новоявленного пустынника с пачпортом. Сам Лопарев, конечно, не подозревал, какую великую беду навлек на себя щепотью!

– Сымите! – махнул рукою старец.

Тело во власянице сняли с креста, положили на землю возле березы, сложили на груди руки и укрыли сеном. Потом выкопают яму и захоронят Елисея без колоды. Был бы рядом

красный лес, как в Поморье, – сосны, пихты, лиственницы, тогда бы выдолбили Елисею колоду-домовину. Но красного леса нет, а из березы колоду не выдолбишь.

Трое пустынников, таких же сивобородых, вечно нечесаных, как и Елисей, остались возле тела петь псалмы.

Возрадовались женщины, особенно белицы и молодухи:

– Мучитель наш помер!

– Иуда окаянный! Так и зырился, так и зырился!

– Кабы не он, Акулину бы не сожгли.

– Это Елисею привиделось, будто в яму к Акулине сиганул нечистый дух в виде белесого дыма.

«Как же порушить дикую крепость? – думал Лопарев, когда после всенощной вернулся со старцем к той же телеге, где его выходила от смерти Ефимия. – Чему они верят, эти люди, пребывающие во тьме и невежестве? Одну сожгли живьем с младенцем, другой на кресте умер. И все во имя Исусово? Во имя святости старой веры? Да что же это за вера?..»

X

Но где же Ефимия?..

С того дня, как она пришла к нему в рощу, и нарядилась там в сарафан и батистовую кофту, и пропела ему песнь любви, назвала его возлюбленным своим и мужем, он ее не видел. Искал глазами на всенощном моленье – не нашел: мужики заслоняли женщин. И возле распятого Елисея Ефимии не было. Где же она?

Старец Филарет что-то уже чересчур прилипчиво поглядывал на Лопарева, будто впервые видел.

– Возрадовался я, сын мой, – заговорил Филарет, и лицо его посветлело, смягчилось. – Бог послал те пачпорт пустынника, благодать будет!.. Набирай силы, живи… Ежли надумаешь отроков обучать грамоте, и я помогу в том. Писание прозрею. Славно! Бог даст, передам те из рук в руки посох духовника и крест золотой, чтобы не порушилась старая крепость, какую заповедовал нам сохранять мученик Аввакум. Аминь.

Лопарев поклонился старцу: «Если бы мне твой посох, настал бы конец крепости».

– Как теперь жить будешь, раб Божий? В моем ли становище аль перейдешь к пустынникам?

– Мне хорошо было под телегой, отец.

У старца зло сверкнули глаза, чего не заметил Лопарев.

– Как хочешь, так и будет. Семей у нас множество – более шестиста душ. И гурт коров у нас, и два табуна лошадей, и птица всякая. Прибыльно живем, раб Божий. Общиною. Всяк по себе не тащит богатство под свою руку. Общинное достояние. И пропитание у всех едное, из одних сусеков. Такоже проживали в Поморье, с тем в Сибирь пошли. По душе тебе экий порядок?

– По душе, отец.

– Спаси Христос! Опосля того, как Бог послал те пачпорт раба Божьего, можно ли тебе зрить бабу?

Лопарев смутился и ответил глухо:

– Каждый мужчина, отец, от женщины рожден. От Евы отошли первые люди, от тех людей еще люди, а потом и мы народились.

– Благостно глаголешь, – прогудел старец, тяжело опираясь на пастырский посох. – Баба – она тоже тварь Божья. Вот хоша бы Ефимия.

Лопарев вздрогнул, точно от удара. Старец заметил, но виду не подал.

– Что Ефимия?

– Еретичка.

– Еретичка?

– Опеленала, ведьма, сына мово Мокея. Еще в Поморье, когда белицей проживала…

И тут Лопарев услышал от Филарета, как еретичка Ефимия возопила в монастырской келье и к ней явился нечистый, завладел ее душой и телом, а потом… погнал к святому пещернику Амвросию Лексинскому. Пещерник будто отбивался от еретички крестом, бил батогом, но искусительница оборотилась в муху и порчу навела на сухари. И когда Амвросий сожрал сухари, дух вышел из него, «яко вода из дырявой посудины»…

– Сидеть бы еретичке на чепи в каменном подвале с донной водой, – продолжал Филарет, – да сын мой Мокей украл ее от стражи собора. Я-то не ведал, какова она белица! Ох-хо-хо!.. Как узнал, тащить хотел на собор, да Мокей сдурел и уволок ее к морю, и там проживал с ней года за три так. Потом возвернулся ко мне в общину на Сосновку! «Очистилась, грит, Ефимия-то». Эко!.. Бил дурня, да мало.

У Лопарева – холод за плечами. Так вот каков «милостивый старец»!..

– Была ведьма и есть, – долбил старец. – Ни в чох, ни в мох не верует. Псалмы Давидовы и песни Соломоновы, слышь, перекладывает на мирской язык да пишет их в свои тетрадки. Пожег я те тетрадки и клюшкой лупил, чтобы вразумить нечестивку. Ох-хо-хо! Как присоветуешь, гнать ведьму из общины аль на судное моленье выставить?

У Лопарева дух перехватило. Ефимию – на судное моленье? За что? За какие-то песни Соломоновы?

Старец таинственно сообщил:

– У одной бабы, слышь, от нечистого младенец народился о шести пальцах. И рога на лбу пробивались. Сожгли ту бабу. Ведаешь ли?

Лопарев притворился, что ничего не знает.

– Грех! Великий грех был! Елисей-то, который помер, сказывал: нечистый дух по общине ходит кажинную ночь в бабьем обличье. А доглядеть, какая баба, не узрел.

Старец, конечно, намекал на Ефимию.

– Елисею привиделось, что и у меня рога на лбу, – ввернул Лопарев, мучительно соображая, как защитить ее.

– И то! – согласился Филарет.

– А мне вот привиделась Ефимия в светлом сиянии, – соврал Лопарев.

Глаза старца сверкнули, как алмазы.

– Сказывай! Знамение было али как?

– Ночью так, когда в лихорадке лежал, выполз я из-под телеги воды напиться. Вижу: сидит Ефимия вот на этом пне, а вкруг головы сияние.

– Исусе! Баба ведь она, сиречь того – ведьма. Сиянию откуда?

– Жар у меня был…

– И то, – фыркнул старец, ухватившись за свой золотой крест, как спасительный якорь. – Блудница она, блудница!.. Мокей-то без мово благословения проживает с ней. Епитимью наложил на них на семь годов. Ежли за семь годов Ефимия не окажет себя еретичкой, благословлю тогда…

И тут Лопарева осенило:

– Грешно так жить, отец. Ребенок у них народился…

Филарет вздрогнул и выпрямился.

– Откель ведаешь про ребенка?

Лопарев сказал, что видел Ефимию с ребенком…

– Эко! Спрошу Марфу Ларивонову, спрошу! – погрозил какой-то Марфе, сообщив: – Ребенка отобрал я от ведьмы, чтоб не искушала чадо. Отобрал! До исхода епитимьи будет

жить чадо со снохой Марфой, бабой Ларивоновой. Да не узришь! Глядь, еретичка опять возле парнишки. И бита была, а неймется!

«За что бита была? За что?» – ныло сердце у Лопарева, и он едва сдерживал себя, чтобы не высказать в глаза старцу всю неприязнь к дикому староверчеству.

Что же придумать? Как спасти Ефимию?!

А старец упрямо бубнит:

– Гореть бы ей на той березе с Акулиной нечестивой, кабы Елисей усмотрел, какая баба оборотнем ходит по общине! Не углядел. Ефимия совратила Акулину-то. Она! И Юскова парня, Семена, совращала, да не углядели.

Лопарев осмелился сказать правду:

– Не верю я, отец, чтобы Ефимия кого-то совращала и что она ведьма. Не верю! Она меня спасла от смерти. Святость в ней великая.

Филарет вытаращил круглые глаза, как белые камушки.

– Святость?!

– Если она спасает людей…

– Совращает, ведьма! Искушает, еретичка.

– Не верю, – твердо ответил Лопарев.

У старца перекосилось лицо от ярости и ноздри раздувались, но он сдержал себя.

– Не ведаешь всего про ведьму-то, не ведаешь!.. Грех-то!..

– Могу я с ней поговорить?

– С ведьмой?!

– С Ефимией.

Старец не сразу собрался с духом, что сказать. Подумал, потеребил бороду, скрипнул:

– Остра на язык, как пчела на жало. То и гляди, ужалит. Веру надо иметь крепкую и руку праведника, чтоб не поддаться искусительнице. Не совратит ли тя с веры-правды?

– Не совратит.

– Это! Молодой ишшо глаголать так-то. Погоди маленько, вот посох отдам тебе и крест золотой, тогда вершить будешь волю Господа Бога нашего и узришь: ведьма ль Ефимия али праведница.

– Если она ведьма, как же тогда она стала женою Мокея, вашего сына?

– Не жена, не жена! – отмахнулся старец.

– Как же можно жить ей с Мокеем, если она не жена?

– Неможно! Отторгну, яко тать от овна. И так не шла за моей телегой! Не шла, не шла! Вот под этой телегой скарб паскудницы!

Старец указал на ту самую телегу, под которой скрывался Лопарев во время лихорадки. Так вот куда определил его старец!

– Мне хорошо было под этой телегой. Выздоровел, видите? Ели бы Ефимия была ведьма, разве бы она спасала людей от болезней?

Завязь четвертая

I

Что за люди? Чем они живут? Лопарев надумал побывать у Юсковых и узнать, где же Ефимия?

Мимо шла молодуха в черном платке. На плечах – гнутое коромысло и деревянные ведра с водой. Поклонилась Лопареву, торопливо проговорив:

– Спаси Христос, – и как бы невзначай резанула игривыми карими глазами.

Лопарев спросил:

– Где тут становище Юсковых?

Молодуха испугалась, плеснула воду и тихо ответила:

– За кузней Микулы. Вот там, где березы, Юсковых становище.

И пошла дальше, придерживая руками дужки ведер.

Табунок горластых ребятишек окружил гнеденького жеребенка. Не тот ли жеребенок? Кто-то из ребятишек крикнул: «Барин!» – и все разом, как воробьи, разлетелись в разные стороны, мелькая голыми пятками. И жеребенок убежал.

Лопотали реденькие березы, а кругом, куда ни глянешь, торчали пни, оплывшие розово-желтой пеной вешнего сока. Совсем недавно здесь шумела березовая роща. И вот наехали люди, облюбовали рощу и начали строиться. Почти над каждой землянкой возвышается березовый сруб с квадратными оконцами. Некоторые из оконцев затянуты пленками из брюшины – тонкой махровой оболочкой, выстилающей изнутри брюшную полость. Ее осторожно отдирали, вымачивали, промывали и натягивали для просушки на столешню.

Поодаль – три пригона для скота, обнесенные березовыми жердями. В степи виднеются стога сена. Всюду добротные телеги на железном ходу, продегтяренная сбруя, костры с таганами и печурками, поленницы березовых дров. Возле одной землянки, под навесом из жердей, соорудили мельницу на конном приводе. Пара лошадей ходила по кругу – мололи зерно. Тут же устроена сушилка для зерна с глинобитной печью. Мужики что-то мастерили – ладили сани, что ли. Возле землянок суетились бабы, старухи, ребятишки. У трех избушек, под навесами из жердей с накиданным сеном, стояли кросна и бабы ткали холст. Вот двое бородачей шорничают, а у другой землянки на самодельном станке мнут кожи. Возле кузницы, построенной из березовых бревен, два мужика натягивают железную шину на дубовое колесо.

Лопарев остановился, пожелал мужикам доброго здоровья.

Мужики разом поднялись, поклонились в пояс:

– Спаси тя Христос, барин.

Точно так же когда-то юного Лопарева приветствовали крепостные мужики, когда он наведывался в именье отца.

– Я не барин, люди.

– Были на моленье-то, были. Пустынник таперича. Пачпорт Господь послал.

Лопарев смутился и глухо ответил, что явился в общину не с пачпортом пустынника, а в кандалах.

Один из мужиков низко поклонился.

– За кандалы – земной поклон тебе, праведник. Сказывал наш духовник, на царя будто поднялись охицеры и солдаты во граде-блуде. Славно то! И я бы пошел на царя с топором.

– Настанет еще время, – сказал Лопарев.

– Дай-то Бог! Одно восстанье порешил Анчихрист, другое объявится. И с топорами пойдут, и с ружьями.

Из кузницы вышел Микула. Рыжая борода горит на солнце, как золотой оклад иконы.

– Спаси Христос! – поклонился Лопареву. – Про восстанье, слышу, толкуете. Дай-то Бог! Всей общиной пошли бы, чтобы порушить крепостную неволю да престол царя-анчихриста.

Лопарев залюбовался: какой же богатырь этот Микула. Плечи – руками не охватишь. Глаза молодые, пронзительные.

– С тобой бы, Микула, не страшно на эскадрон кинуться.

– Чаво там, – осклабился Микула. – За вольную волюшку, барин, и башки не жалко. Да вот проехали мы с общиной всю Расею, почитай, а не слыхивали, чтоб где-то народ топоры точил да в кузнях шашки ковал. Живут, яко кроты слепые, да хрип гнут на барщине-дворянщине аль на подрядчиков. На Волге видывали лямочников – бурлаками прозываются. Барки

тянут купеческие, опосля того зелье хлобыстают да песни орут на всю Волгу, яко свиньи. Люди то аль нет? Где у них прозренье, злоба? Нету ни прозренья, ни злобы. Ярмо укатало.

– Укатало, укатало, – подхватили бородачи.

К кузнице подошли еще мужики. Кто-то придвинул Лопареву березовую чурку, и он сел. Микула попросил рассказать народу про восстание, какое свершилось в Петербурге: с чего началось и как царское войско подавило то восстание.

– Не бойся, барин, – предупредил Микула. – Из нашей общины слово не убежит, с нами останется. Могут огнем пожечь всех, а человека из общины не вымут.

Лопарев долго говорил, как вступил в тайное общество «Союза благоденствия», а потом в Северное, как собирались на тайные сходки, обсуждали конституцию для народа, какую хотели объявить, если бы восстание удалось, и что по той конституции крестьяне освобождались от помещичьей крепости, престол упразднялся и что установили бы парламент с народными министрами.

Микула слушал и вдруг перебил Лопарева:

– Вот бы тут и объявиться Стеньке Разину!

Глядя на Микулу и на всех мужиков, рассуждающих толково, Лопарев невольно подумал: как же эти мужики могли поверить, что шестипалый младенец Акулины от нечистого?

– Кабы такую силу, как у Наполеона была, – заметил один из мужиков, в суконной однорядке, пожилой бородач, но еще не старик, хотя голова усеялась проседью, – тогда бы и царю не устоять. Эх и силища шла с Наполеоном!.. Маршалы с генералами у него башковитые, зело борзо! Огнь-пламя!

– Негоже, Третьяк, – возразил Микула. – Наполеона поганого хрещеная Русь не примет, скажу. Кабы Кутузова на нашу сторону али Суворова с войском!

Лопарев пристально поглядел на мужика в суконной однорядке. Нос ястребиный, гнутый, а черными глазами так и стрижет. Так вот он каков дядя Ефимии, Третьяк.

Третьяк поклонился.

– Спрашивали, барин, про становище Юсковых. Милости просим. – И еще раз поклонился.

Лопареву показалось, что Третьяк усмехнулся в свою кудрявую седеющую бороду.

II

Когда отошли от кузницы, Третьяк спросил:

– Который вам год, барин?

– Двадцать семь.

– Из князей, должно?

Лопарев подумал: «Хитер Третьяк! Знает же, что не из князей, а спрашивает».

– Каторжник, опричь того государственный преступник, лишенный чина и сословного званья. Другого званья не имею пожизненно, – ответил Лопарев, приноравливаясь к языку Третьяка.

Третьяк усмехнулся, поблескивая черными глазами:

– Со мною, барин, глаголать можно, как от сердца к сердцу. Потому: принял вас, яко брата. Я вить тоже из кандальников, опричь того государственный преступник. Не сносить бы мне башки, кабы Наполеон в Москву не заявился. Служил я в кутузовском войске, в Семеновском гренадерском полку. Возле Смоленска заковали меня в кандалы и отправили в Москву на следствие. Потом в Петербург повезли бы, зело борзо!.. Подбивал солдат на восстанье. Самое время было, барин, чтоб потрошить Расею. Кабы восстанье свершилось да Наполеон помог бы тому, не устоял бы престол. Не вышло того восстанья, зело борзо! Народ хоша и в кабале, а за Русь на смерть пошел. Отчего так? Не разумею. А по мне – хоть бы всю Расею

под топор, не жалко, коль нету в ней вольной волюшки. Мой дед, Данилов, в стрельцах ходил, а волю так и не добыл. Все кабала да холопство! И за ту Расею на смерть идти? Князья да дворяне, да царская челядь вино пьют, заморскими игрищами тешатся, а народ стонет. Тако ли, барин?

Ноздри Третьяка раздулись, как у хищной рыси, и весь он подобрался, вытянулся, твердо и жестко вышагивая в яловых продегтяренных сапогах.

– Волю завоевывать надо без Наполеона, – ответил Лопарев. – Иноземного ига русский народ не примет.

Третьяк упрямо возразил:

– Не было бы ига, барин, Наполеон и так ушел бы из Расеи. Какая ему тут прибыль? Кабы войско наше поднялось супротив царя, как мы замышляли, и Наполеону прижгли бы пятки. Потому вся Расея огнем бы занялась! Так думали свершить. Не вышло того, зело борзо. На тайном сборе в Смоленске взяли нас, грешных, числом в осьмдесят душ, со унтерами, со поручиком Лехвириевым. Из дворян такоже, да в разоре именье было. Брательники прокутили да на ветер пустили. Умнущий поручик был! Не дался в руки. Двух порубил шашкой и сам ткнул себе шашку в сердце. А нас, грешных, скрутили, а потом и в цепи заковали, в Москву повезли, чтобы пытать, где таится гнездо наше. Кабы проведали, порешили бы Преображенский монастырь, да Наполеон занял Москву…

Третьяк остановился возле изгороди в три жерди. За изгородью – избушки четыре. Не полуземлянки, а настоящие избушки из березовых бревен. Рядом шептались тенистые березы. На шестах – рыболовные сети, перевернутая вверх дном лодка-долбленка, какие-то чаны. Возле чанов на жердях просушивались сырые кожи, бараньи овчины, еще не черненные и не дубленные. Поодаль – телеги, рыдваны, два навеса.

Возле чанов стояли три женщины с ребятишками. У первой избы горбился бородатый старик, щупленький, в холщовой рубахе под синим кушаком, в мокроступах. Третьяк назвал его большаком становища, Данилой Юсковым.

На старшей дочери Юскова женат был Третьяк и тоже носил фамилию Юскова, пояснив, что свою фамилию пришлось запамятовать: в бегах числится. «В нашем становище, – говорил Третьяк, – девять мужиков, одна старуха, семь жен, три белицы на выданье, два парня, вдовец Михайла, жену которого, Акулину, огню предали».

Как узнал Лопарев, из девяти мужиков, проживающих под Юсковой фамилией, только трое настоящие Юсковы. Остальные – беглые люди, кандальники, фамилии свои запамятовали на веки вечные, что и посоветовал Третьяк сделать Лопареву.

– Филаретушка фыркает ноздрями на наше становище, да сила у нас немалая, – обмолвился Третьяк. – А главное – Микула-кузнец. Наикрепчайший праведник и тоже под фамилией Юскова. Втапоры двум жандармам башку проломил!

Все это сказано как бы между прочим, мимоходом, покуда Лопарев здоровался со старцем, еще с двумя мужиками и курчавым синеглазым молодым вдовцом Михайлой.

Данило Юсков пригласил гостя в избу.

Первое, что бросилось в глаза Лопареву, – богатая рухлядь. На полу дорогие ковры, и стены увешаны коврами. На одном из ковров – курковые ружья, окованные сталью рогатины, с какими на тяжелого зверя охотятся. Стол застлан скатертью. Вместо лавок и лежанок – высоченные сундуки, покрытые коврами. И в сундуках, надо думать, немало рухляди.

Старец Данило позвал в избу двух баб, и те стали собирать на стол, ничуть не стесняясь Лопарева и не пряча глаз. В открытую дверь уставились ребятишки, и никто их не гнал батогом.

Третьяк по знаку старца зажег свечи на божнице, потом пригласил Лопарева на малую молитву, и все, как по уговору, стали на колени, помолились, а тогда уже Данило усадил гостя в красный угол.

– Нету у нас той лютости, как у духовника, – сказал Третьяк, усевшись рядом с Лопаревым. – Бог, Он завсегда еси не втуне, а в ребрах.

Данило Юсков хихикнул в реденькую бородку:

– Про Бога памятуй, сиречь того – про себя не забывай.

Михайла, чубатый красивый парень, еще не переживший каменеющего на сердце горя утраты жены Акулины с младенцем, спросил у Лопарева, многих ли офицеров в кандалы заковали и на каторгу отправили?

Лопарев ответил, невольно подумав, что в становище Юсковых известны все подробности про восстание на Сенатской площади и что Ефимия предана Юсковым и душою и телом…

В избу вошел совсем молодой парень, безбородый, кудрявый, принес лагун вина. Третьяк назвал его Семеном и сказал, что отец Семена еще десять лет назад пропал без вести в Студеном море. Как ушел на промысел, так и не вернулся.

Данило заговорил про Енисей, куда еще прошлой осенью уехал сын Данилы Поликарп с Мокеем Филаретовым и с другими единоверцами.

– Толкуют: Енисей – река дивная, рыбная, невиданной благости и пустынности, – говорил Третьяк. – Живут там наши единоверцы в тайге будто. Лесу там – хоромы строить можно. И от царя не близко – не дотянется. Туда и мы поедем, чтоб корни пустить в землю сибирскую. На вольной земле жить можно, барин. И хлеб сеять, и в тайге зверя промышлять, и золото, толкуют, есть на малых реках, какие текут в Енисей. Таперича и ты с нами, праведник. Бог послал те пачпорт пустынника.

– Благостно, благостно, – поддакнул Данило.

В который раз Лопареву напоминают о пачпорте! Не смеются ли над ним Третьяк со старцем Данилой? И откуда Ефимия взяла тот пачпорт? Не от Юсковых ли? Уж больно хитер дядя! И глаз цыганский, черный, и в заговорщиках побывал.

Вино разлили в серебряные кубки. Из таких кубков пивали бояре да стрельцы.

Не зря Филарет обмолвился: «Воровской дуван везут». Малую долю, наверное, положили на алтарь раскольничьего собора, ну а себе – сокровища, драгоценности, золото. И вот бегут в Сибирь с воровским дуваном под прикрытием Филаретовой общины.

Догадка Лопарева подтвердилась, когда Третьяк сказал, что вся сила «жить единым духом, чтоб не допустить подушной переписи и тем паче вопросов, кто и откуда попал в общину».

Михайла-вдовец не удержался:

– Оттого и Акулину сожгли, от «единого духа»! Кабы Микула не помогал Ларивону…

– Молчи, дурак! – осадил Данило.

– За что сожгли-то, барин? Слышали? – Синие глаза Михайлы жалостливо помигивали. – Шестипалый, сказали. От нечистого-де…

– Молчи, грю, в застолье, – оборвал Данило.

– Зело борзо! – крякнул Третьяк.

Михайла хотел уйти, да Третьяк удержал.

Лопарев слушал и молчал, поглядывая то на одного, то на другого.

– Оказия вышла такая, зело борзо, – начал Третьяк издалека, предварительно глянув в оконце: нет ли кого чужого в ограде становища. – Должно, слышали вопль Акулины? Про шестипалого младенца что толковать! Каких бабы не родют. И слепых, и горбатых, и ноги у которых срослись в кучу. От уродства то, зело борзо! Все знаем, барин. Да вот апостолы-пустынники, какие суд и веру держат при самом Филарете, смуту навели: в Юсковом становище, мол, нечистый народился. Особливо старался Елисей, какой ноне сдох на кресте. Узрил, будто Акулина тайно якшается со нечистым, и всю общину на то подбил со благословенья Филарета. Мало ли в общине голытьбы да верижников? Только и ведают, что лоб пальцем долбить, а на работу квелые, зело борзо. Зазорно им, что в Юсковом становище всего вдосталь

и живут, как единый перст – не разымешь. Вот и порешил Филаретушка вывернуть Юсковых через ту Акулину.

– Такоже! Такоже! – подтвердил Данило.

– Не сидели бы в застолье, барин, кабы не дали Акулину, – подвел итог Третьяк. – Три ночи думали так и эдак. Сна лишились. А верижники с ружьями обложили все наше становище. Жди огня-пламя! Зело борзо!

– Такоже. Такоже, – кивал Данило.

– Надумали тогда: стерпеть, и Микулу выбрали, чтоб помог вязать Акулину, яко блудницу и нечестивку.

Лопарев отодвинул кубок вина…

– Суди сам, барин, – продолжал Третьяк, – в нашем Юсковом становище – шестеро каторжных, беглых. А всего в общине за пятьдесят беглых, опричь холопов, какие ушли от помещиков. Когда мы едем общиною, к нам подступу нет. Из Поморья общиной вышли; держимся старой веры, печати и спроса Анчихристова не признаем! Держали нас на Волге и в Перми, а потом – идите, зело борзо, паче того – в Сибирь. Дале гнать некуда. Ну а если по семьям стали бы перебирать?..

Лопарев подумал: многих бы заковали в кандалы!.. Ну а сам он разве не беглый каторжник?

Неспроста Ефимия удержала его в ту ночь возле телеги, не дала ввязаться в судное моленье. И что бы он мог сделать, Лопарев, одни против сотен фанатиков?

«Четвертым гореть тогда!..»

И спросил про Ефимию: где она сейчас?

Третьяк подумал, прищурился:

– И я не зрил благостную на всенощном моленье, зело борзо!

– Не было, не было, – сказал Данило.

Михайла-вдовец угрюмо заметил:

– Может, на костылях висит?

Третьяк вздрогнул и выпрямился:

– Спаси Христос!

Данило тоже перекрестился.

– Бабы, идите отсель! Живо!

Бабы тотчас ушли из избы.

Лопарев поинтересовался: что еще за костыли?

– Филаретовы, – ответил Третьяк. – В избе у него в стене костыли набиты, во какие. К тем костылям веревками привязывают еретика, когда тайный спрос вершат апостолы Филаретовы. Ох-хо-хо!

Лопарев вспыхнул:

– Кто дал право Филарету вершить подобные судные спросы?

– Тихо, Александра, тихо! – урезонил Третьяк. – Экий порядок с Поморья тащим. Филарет-то – духовник собора!.. И апостолов из пустынников набрал, чтоб держать крепость веры. И всю общину в страхе держит – не пискни, огнем сожгут. Может, порушим ишшо крепость Филаретову. Потому: Сибирь – не Поморье!

Данило Юсков перепугался, замахал руками:

– Негоже, негоже, Третьяк! Филаретушка – святитель наш многомилостивый!..

– Чаво там! – отмахнулся Третьяк. – С Александрой толковать можно в открытую, зело борзо. Не из верижников!

– Один Бог ведает.

Лопарев заверил, что с ним можно говорить в открытую, и что он не принимает крепость, и даже готов высказать это на собрании общинников, чтоб укоротить руки Филарета.

– До рук далеко, Александра, – вздохнул Третьяк. – Дай до Енисея доползти, а там…

Третьяк недосказал, что будет «там», но Лопарев догадался и, вспомнив разговор с Филаретом про Ефимию, сказал о нем. Все слушали внимательно.

– Беда, должно, беда! – охнул Данило. – Филаретушка и сына свово Мокея потому отправил на Енисей, чтоб извести благостную!..

– За что извести? За что? – не понимал Лопарев.

Третьяк выпил вина, попросил Семена наполнить кубки, а тогда пояснил:

– Сказ короткий, Александра. Филаретушка чует, как земля у него из-под ног уходит. Зубами душу не удержишь, зело борзо! Такоже. И крепость Филаретова скоро лопнет – народ Сибирью дохнул, а не Поморьем верижным.

– Но при чем же здесь Ефимия?

Третьяк помигал на Лопарева, удивился:

– Али не говорила Ефимия, как ее в Поморье еретичкой объявили и на пытку в собор вели?

– Так ведь это же было в Поморье!

– Много надо сказывать, Александра, – покачал головой Третьяк. – Тут ведь какая тайна? Мокей-то, сын Филаретов, силища невиданная, зело борзо! За Ефимию он и самому Филарету башку оторвет.

– Такоже, – кивнул Данило.

– Вот и нашла коса на камень. Порешить Ефимию – порешить Мокея. А тут еще в Поморье заявилось царское войско, не до Ефимии!.. Филипповцы пожгли себя, а Филарет с общиной в побег ударились, и мы с ними. Едем вот, зело борзо!.. Тут и пронюхал Филаретушка, что в Юсковском становище нету для него опоры, а поруха будет. Мало того: Ефимия в самом становище духовника – совсем беда. Знали мы: кабы Акулина на тайном спросе, когда висела на костылях, назвала Ефимию как искусительницу, не жить бы Ефимии!.. Да мы наказали: смерть прими, а благостную, которая ребенка твово приняла да сокрыла, что он шестипалый, вздохом не почерни!

– Такоже. Такоже, – кудахтал захмелевший Данило. – Благостную оборони Бог хулить.

Лопарев задумался. Что-то тяжкое, тревожное прищемило сердце.

– Не может быть! Не может быть! – проговорил он, сжимая голову ладонями. – За что? За что?

Третьяк согласился:

– Нету никакой провинности! Чиста, как слеза Христова. Присоветую тебе так, Александра, объявись верижником да возьми себе в тягость ружье.

Семен, почтительно молчавший, когда говорили старшие, робко сообщил, что видел Ефимию вчера, до того как на всенощное моленье вышла община.

– За травами собиралась будто.

Третьяк повеселел:

– К вечеру, может, возвернется. Подождем. На всенощное моленье Филарет мог и не пустить ее. На судное моленье не пустил же.

Лопарев тоже успокоился. Не так просто повязать Ефимию! И решится ли Филарет скрутить единственную лекаршу общины да выставить на судный спрос? И ко всему – Юсковы. Стерпят ли они второе душегубство или возьмутся за рогатины и ружья?

III

Из становища Юсковых Лопарева пошел провожать белобрысый парень Семен. Неспроста тоже. Мужики не хотели показываться с Лопаревым на виду всей общины.

Еще в застолье Лопарев пригляделся к Семену: парень бравый, румяный, косая сажень в плечах. Золотистый пушок покрыл его губу и чуть припушил щеки. Не зря, может, старец Филарет обмолвился, что Ефимия совращала несмышленыша Юскова. Да какой же он несмышленыш?

– Который тебе год, Семен?

– Осьмнадцатый миновал, барин.

– Бороды еще нет.

– Будет, барин. От бороды, как от подружии, не отвяжешься.

– Грамотен?

– Читать и писать сподобился.

– Где же ты учился?

– На Выге. Была там школа при монастыре.

– Отец твой погиб?

– А хто иво знает! Море, оно хоша и шумное, а бессловесное. Заглотит, и аминь не успеешь отдать.

– Ну а мать… жива?

– И мать, и две сестры. Матушка на стол собирала, видели?

– А…

Помолчали. Лопарев опять спросил:

– Как народ зимовал вот в этих землянках? Морозы ведь в Сибири.

– Не морозы, барин, – само огневище. По неделе из землянок и избушек не вылазили. Одна семья в пять душ замерзла.

– Разве нельзя было остановиться на зимовку в какой-нибудь деревне?

Семен боязливо оглянулся:

– Кабы можно было!.. И деревни проезжали, и вокруг городов по тракту объезжали, а на зимовку в землю зарылись. Потому – вера наша такая. Крепость Филаретова, значит.

– Ты рад такой крепости?

Семен испугался. Кровь кинулась ему в лицо, и он чуть в нос, с запинкой пробормотал:

– Не совращайте, барин!.. Грех так-то пытать…

Лопарев невесело усмехнулся:

– А я-то думал, что ты не из пугливых.

– Спытайте в другом, а не в верованье, барин. Нонеча вот, до того как вы объявились, разорил я логово волчицы. Шел степью и наткнулся на логово. Без палки и без ружья был. Потешно так!.. Вижу, ползают в траве волчата, пять штук. Самой волчицы не видно. Я снял рубаху, и всех волчат сложил туда, и завязал рукавами. Тут и волчица объявилась. Ох, лютая!.. Хорошо, что я сапоги тот раз тащил в руках. Кабы видели, как я ее сапогом бил по морде. Во потеха!.. Она-то кидается, а я – бах, бах по морде, да потом как схвачу за хвост!.. Тут и кинулась она по степи – на коне не догнать.

Вот он каков, поморец филаретовского толка! На волчицу с голыми руками не убоялся кинуться, а на судном моленье, когда безвинную Акулину с младенцем жгли огнем, онемел от страха. В пору хоть самого жги.

– Старец Филарет говорил мне, будто тебя хотела совратить Ефимия, невестка Филаретова?

Семен тонко усмехнулся:

– Наговор, барин. Мало ли что старцам не привидится? И невестка она никакая – ни жена Мокея, ни приживалка, никто. Под ярмом живет. Мокей-то – кабы видели! Чудище рыжее. Силища у него страшная. Подковы гнет, яко гвозди. Костыли в бревно кулаком забивает. Положит на костыль железяку, чтоб не поранить руку, как трахнет, так костыль в бревне.

– А что, если Мокей узнает, как Ефимия ходила с тобой за травами?

– Дык што? – пожал плечами Семен. – Мое дело третье. Позвала – пошел. Ко Гнилому озеру водила. По горло лазил в той воде, траву выискивал, на которую она показывала с берега. А пустынник Елисей вопль поднял: искушала, грит. Кабы искушала!.. Ефимия не такая, барин.

– Какая же?

– Благостная. Так ее все зовут. А по уму-то – страх Божий. Говорить говорит, а что к чему, не поймешь. Будто из Писания, а как проникнешь, совращение с веры получается.

Лопарев ничего не ответил. Знал ли он сам Ефимию? Не ее ли волю исполнил?..

«Зрить хочу тебя просветленного и ясного», – вспомнил слова Ефимии и будто увидел ее перед собою – страстную, призывную и желанную. Как бы он сейчас обрадовался, если бы она шла к нему навстречу!

Нет, не Ефимия шла навстречу, а гигант Ларивон, переваливаясь с плеча на плечо.

– Космач идет, – буркнул Семен, на шаг отступив от Лопарева.

Ларивон и в самом деле смахивал на космача. Борода рыжая, как у Микулы, отродясь не чесанная, взгляд исподлобья, руки длиннущие, ухватом, будто Ларивон что-то нес в охапке.

– Ищу тя, праведник, – протрубил он, глядя в землю. – А ты эвона где гостевал! У Юсковых. Ефимия там обед сготовила.

У Лопарева отлегло от сердца: Ефимия ждет его!

– А ты ступай, нетопырь, – погнал Ларивон Семена и, глядя куда-то вбок, в сторону степи, нехотя сообщил: – Батюшка наказал на охоту нам идти на всю ночь. Волки одолевают. Трех жеребят задрали. На приступ берут, тати поганые. Вот и пойдем ноне на логовище.

Лопарев обрадовался: на охоту так на охоту. Давно из ружья не стрелял, забыл даже, чем пахнет пороховой дымок.

Не доходя до становища Филарета, Лопарев обратил внимание, что вокруг моленной избы старца плотным кольцом расселись верижники. И утром он видел их на том же месте. Некоторые из них с ружьями. Во власяницах, босоногие, косматые, без шапок, молчаливые, как черные камни.

– Что они тут собрались?

Ларивон тоже поглядел на верижников, хмыкнул в бороду и через некоторое время собрался с ответом:

– Поминать будут Елисея. Преставился раб Божий.

«Ничего себе преставился!..»

На бородатом лице Ларивона – ни единого движения мысли. Да и бывает ли отражение какой-либо мысли на таком вот тупом, как обух топора, лице?

Ефимии возле телеги не было. Понятно: там, где Ларивон, не жди Ефимию.

В прокоптелом котелке – щи, на чугунной тарелке – жареная рыба, полкаравая хлеба на белом рушнике. Возле пепелища – бахилищи на мягкой подошве, портянки, суконная однорядка, войлочный котелок, заменяющий шляпу.

– Может, поужинаете, коль на обед не поспели? А, у Юсковых!.. Тамо-ка жратвы от пуза. С портянками обувку носили, праведник?

– Не носил. Но сумею обуться.

– И то. – Задрав бороду, крикнул: – Лука-а!.. Ну да я сам управлюсь. Снаряжайтесь, праведник.

И охота будет не в радость с таким космачом. Ни поговорить, ни подумать. Вот если бы позвать Третьяка с Микулой!

Ужинать не стал. Обулся, оделся и вышел на берег Ишима. Вспомнилась Нева. Грозный шпиль Петропавловского собора. Медный всадник, Зимний дворец, Мореходное училище, академия, Невский проспект, Фонтанка с домом Муравьевых под номером 25, где так часто бывал Лопарев. Как давно все это виделось, будто сто лет назад!..

Над Ишимом плыли реденькие рваные тучки. Только что зашло солнце, и алая зарница прыснула у горизонта.

– Сготовились, барин?

Лопарев принял от Ларивона кремневое ружье, кожаную сумку с порохом и только сейчас обратил внимание на двух бородачей и на молодого парня, Луку, сына Ларивона.

Пошли прибрежной тропкой, протоптанной коровами, вниз по течению Ишима. Миновали пригоны для скота, несколько стогов сена, часовенку, похожую на колодезный сруб; потом свернули в степь, на восход солнца.

И все молча, молча, будто шли глухонемые.

Лопарев поравнялся с двумя бородачами, спросил, много ли волков в степи, но бородачи почему-то отвернулись.

– Чего замешкались? – зыкнул Ларивон.

Ничего не поделаешь: надо идти, с такими не разговоришься.

Степь куталась в черное покрывало. Горизонты придвинулись, трава почернела и мягко пощелкивала.

Так прошли версты три от становища общины.

Ларивон остановился, подошел к Лопареву:

– Эко! С пачпортом древним объявился, а ружье взял.

Лопарев не сразу сообразил, к чему клонит Ларивон.

– С чем же идти на волков?

– Сказывай, барин, – фыркнул Ларивон. – Ежели пустынник объявился под пачпортом, он идет по земле со словом Божьим, а не с ружьем. Али ты верижник?

– Я не верижник. – Лопарев насторожился: тут что-то неладно.

– Давай ружье-то, праведник! – И без лишних слов Ларивон отобрал у Лопарева ружье и сумку с провиантом.

Двое бородачей и безусый Лука – парень, бревном не ушибить, подошли к Лопареву плечом к плечу.

– Я не могу идти на охоту, – догадался он, что попал в ловушку.

– Ничаво, – осклабился гигант Ларивон. – Пойдешь, барин!.. А ну вяжите!

И тут же Лопарева схватили за руки, за плечи, за шиворот.

IV

…Чтобы вершить свою волю, держать в тайном трепете и страхе общину, Филарет приблизил к себе неудержимых фанатиков-пустынников, готовых пойти в огонь по его первому слову.

Будучи духовником Церковного собора, Филарет ведал подвалами Выговского монастыря, где вел тайные допросы еретиков, и перед именем Филарета даже келарь собора испытывал смертельную оторопь.

Старец не знал жалости к еретикам, как не чувствовал боли и мучений подвергаемых пыткам и казни.

Когда Филипп-строжайший откололся от Филаретовой общины, Филарет созвал всех верижников Поморья, чтоб огнем пожечь отступников, но те сами себя сожгли в восьмидесяти трех срубах, числом в тысячу двести сорок душ. И сам Филипп принял смерть. Тогда Филарет обратил гнев на милость, и отпели чин чином принявших смерть огнем.

Из всех святых мучеников Филарет почитал только протопопа Аввакума – неукротимого, бесстрашного, которого не уломали ни пытки цепями, ни битье батогами, ни сибирские морозы на Ангаре и даже смерть жены и младших детей. Сгорел в срубе с дьячком Федькой, а веры не отринул.

«Такоже, как святой Аввакум, и я буду держать свою крепость», – поклялся перед древними иконами Филарет и ни разу не отступил от своей клятвы.

И все-таки крепость рушилась даже в такой малой общине, какую увел Филарет из Поморья в Сибирь.

На Волге сожгли деву, еретичку.

У города Перми сожгли двух мужиков за тайное общение со щепотниками.

На Кане сожгли семью в четыре души – проклинали Филарета, а это все равно что проклинать самого Исуса!..

И вот опять Филарет проведал про тайную смуту Юсковского становища. Нет такого почтения, как должно, будто сама Сибирь ударила в ноздри вольной волюшкой. Чего доброго, начнется разброд, и у Филарета отберут посох и крест золотой!..

Если Филарет говорил: «Отдам те посох и крест золотой», – неискушенный так и понимал: отдаст старик. В эту же ловушку угодил Елисей. Еще в Перми Филарет пообещал Елисею посох и крест, и Елисей сперва возрадовался. Вот и сдох на кресте.

На посох и крест золотой позарился Лопарев. «Погоди уже, возрадуешься, барин».

V

Если бы знал Лопарев, какие молитвы шептала Ефимия в тот момент, когда Ларивон окликнул его: «Сготовились, барин?»

«Близится мой тягчайший час испытания, – молилась Ефимия, связанная по рукам и ногам, с кляпом во рту, прикрученная веревками к костылям, вбитым в стену. – Помоги ему, Богородица Пречистая! Спаси его, ибо люди темные, пребывающие в забвении, поправшие Бога и Сатану, могут свершить свой суд, не ведая, что осквернили само Небо! Спаси ему жизнь, Богородица, ни о чем более не молю тебя. Пусть я сгину, и пусть пепел мой развеют по ветру, но спаси жизнь кандальнику рабу Божьему Александру!..»

Ефимия не признавала никаких святых, кроме Богородицы, и попрала бы самого Исуса Христа за скверну, какую творят пустынники Филарета, прикрываясь Его именем. Но Богородицу, в муках родившую Сына Человеческого, попрать не могла.

Знала Ефимия про коварные повадки Филарета, знала: если старец говорит умильно, ласково и прослезится даже, то нельзя ему верить: он с такой же легкостью погубить может. Но вот такого ехидства и лукавства, какое учинил Филарет вечером накануне молитвенного шествия к роще, такого коварства даже и она не предвидела.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.